

Дорис Мей Лессинг

Пятый ребенок

Гарриет и Дэвид встретились на служебной вечеринке, куда ни он, ни она особо не хотели идти, — и каждый сразу понял, что долго ждал этой встречи. С кем-то немодным, консервативным, чтобы не сказать, отсталым, замкнутым, своенравным: так люди говорили об этих двоих, и не было конца нелестным определениям, которые им давали. А они защищали то мнение о себе, которого упрямо держались сами: они простые люди, и потому никто не вправе осуждать их за эмоциональную утонченность и аскетизм только из-за того, что эти качества нынче не в моде.

На той памятной вечеринке сотни две народу набилось в длинный, мрачный и богато украшенный зал, триста тридцать четыре дня в году служивший для заседаний. То был новогодний вечер для трех родственных компаний строительного профиля. Было шумно. От музыки маленького ансамбля тряслись в тяжелом ритме стены и пол. Большинство людей танцевало, плотно скупившись из-за тесноты, пары подскакивали или кружились на одном месте, как на невидимых грампластинках. Женщины разодеты причудливо, броско, ярко: «Посмотрите на меня! Посмотрите!» Кое-кто из мужчин требовал к себе не меньше внимания. По стенам жались те немногие, кто не танцевал, и среди них были Гарриет и Дэвид, каждый сам по себе, со стаканом в руке — наблюдатели. Оба размышляли о том, что с равным успехом можно увидеть на лицах танцующих, и больше на женских, чем на мужских, хотя и на мужских тоже, — гримасу страдания и визг боли, словно радости. Во всей сцене была какая-то неестественная возбужденность... но ни Дэвид, ни Гарриет не ожидали, что эти их мысли, как и множество других, кто-нибудь разделит.

С противоположного конца зала — если ее вообще можно было разглядеть сквозь такую массу притягивающих взгляд фигур — Гарриет казалась бледной кляксой. Словно она сливалась с пейзажем на холсте импрессиониста или на размытой фотографии. Она стояла возле большого вазона с засушенными травами и листьями, и платье на ней было какое-то цветастое. Остановив на ней взгляд, замечаешь темные

кудряшки — немодно... синие глаза, кроткие, но внимательные... губы, пожалуй, слишком плотно сжаты. На деле все ее черты были яркие и правильные, а сложение — крепкое. Здоровая молодая женщина, но, может, она смотрелась бы лучше где-нибудь в саду?

Дэвид уже час стоял на одном месте, медленно пил, его серьезные серо-голубые глаза переходили с одного персонажа или пары на другую, наблюдая, как люди держатся вместе или разбегаются, отскакивая друг от друга. Он не показался бы Гарриет плотно скроенным человеком: казалось, он почти парил, балансируя на цыпочках. Щуплый молодой мужчина — Дэвид выглядел моложе своих лет — с круглым честным лицом и мягкими каштановыми волосами, в которые девушкам очень хотелось запустить пальцы, но потом на них начинал действовать его сосредоточенный взгляд, и они отступали. Девушкам становилось неуютно. Но только не Гарриет. Она поняла, что это выражение внимательной отстраненности — зеркало ее самой. А его веселость она расценила как напускную. Дэвид так же мысленно оценивал Гарриет: было видно, что сборища вроде этого нравятся ей не больше, чем ему. Они уже знали друг о друге, кто есть кто. Гарриет работала в службе продаж компании, которая проектировала и выпускала строительные материалы; Дэвид был архитектором.

Так что же такое в этих двоих делало их чужаками и одиночками? Их отношение к сексу! Шли шестидесятые. У Дэвида была одна долгая и непростая связь с девушкой, в которую он влюбился против своей воли: такие девушки Дэвиду *не* нравились. Между собой они шутили о притяжении противоположностей. Она говорила, что Дэвид намеревается исправить ее: «Я уверена, *ты* вообразил, что сможешь обуздать эпоху, и начинаешь с меня!» С тех пор как они расстались, и довольно несчастливо, по подсчетам Дэвида, эта девушка переспала в «Сиссонз Бленд энд К°» со всеми, с кем только смогла. И он бы не удивился, если и с женщинами тоже. В тот вечер она тоже была на празднике, в алом платье с черными кружевами — остроумная карикатура на костюм фламенко. Из этого коктейля испуганно выглядывала ее голова. Чистейшие двадцатые годы гладкий шип из черных волос на затылке, два глянцевых черных шипа на висках и черный завиток на лбу. Она отчаянно махала Дэвиду через весь зал и посылала воздушные поцелуи, кружась с кем-то в танце, а Дэвид

отвечал приятельской улыбкой: никаких горьких чувств. Что до Гарриет, то она была еще девственна. «Девственница в — в пору было восклицать ее подругам. — Да ты в своем уме?» Гарриет не считала свою девственность каким-то физиологическим состоянием, которое нужно защищать, — скорее чем-то вроде подарка в многослойной красивой обертке, который она благоразумно отдаст достойному человеку. Над ней смеялись ее собственные сестры. Девушки в конторе смотрели на нее с нарочитой веселостью, когда она принималась гнуть свое: «Извините, мне не нравится прыгать из постели в постель, это не для меня». Гарриет знала: ее обсуждают, она неизменно интересный предмет разговора, обычно — недоброжелательного. С тем же чопорным презрением, с каким добропорядочные женщины поколения бабушек произносили: «Она, знаете ли, довольно распущенна», или: «Такой уж она родилась», или: «Она чужда какой бы то ни было нравственности»; затем (поколение матерей): «Она помешана на мужчинах», или: «Она нимфоманка», — теперь просвещенные девицы говорили друг другу: «Вероятно, что-то было в детстве, оттого она такая. Бедняжка».

Гарриет и в самом деле иногда думала, что ей не повезло и она в чем-то обделена: мужчины, с которыми она выходила поужинать или в кино, воспринимали ее отказ ни много ни мало как свидетельство нездорового отношения ограниченного человека. Некоторое время у нее была подруга — моложе других, но потом и она стала «такой, как все», — так Гарриет безнадежно определила ее, себя определяя как «не приспособленную к жизни». Многие вечера она проводила в одиночестве, а по выходным часто гостила у матери, которая говорила: «Что ж, ты просто старомодна, вот и все. Многие девушки бы хотели быть такими же, да только у них нет выбора».

Два этих чудака, Гарриет и Дэвид, одновременно вышли друг другу навстречу каждый из своего угла: это будет важно для них потом, когда веселый праздник для служащих станет частью их личной истории. «Да, точно в один и тот же момент...» Им пришлось проталкиваться мимо людей, прижавшихся к стенам; они поднимали стаканы высоко над головой, чтобы не задеть танцующих. Так они наконец сошлись, улыбаясь — хотя, быть может, чуточку беспокойно, — и Дэвид взял ее за руку, и они, протискиваясь сквозь толпу, выбрались в другую

комнату, где был бар, полный шумных людей, а через нее — в коридор, малонаселенный обнимающимися парами, и толкнули первую дверь, где подалась ручка. Это был кабинет, в котором имелись письменный стол и несколько жестких стульев, а также диван. Тишина... ну, почти. Они вздохнули. Поставили стаканы. Сели лицом к лицу, чтобы можно было сколько угодно смотреть друг на друга, и начали разговор. Они говорили так, будто обоим долго не удавалось ни с кем поговорить, будто изголодавшись по беседе. Они сидели близко и болтали, пока шум в комнатах по ту сторону коридора не начал стихать, и тогда они потихоньку вышли из здания и отправились к Дэвиду домой, это было недалеко. Там они легли на кровать и лежали, держась за руки и разговаривая, иногда целовались, а потом заснули. Она почти сразу переехала к нему, потому что денег у нее хватало только на комнату в большой коммунальной квартире. Они решили весной пожениться. Чего ждать? Они ведь созданы друг для друга.

Гарриет была старшей из трех дочерей. Пока не уехала из родительского дома в восемнадцать лет, она не понимала, насколько обязана своему детству — многие ее подруги, у которых родители были в разводе, жили без воли и без цели и проявляли склонность к так называемым расстройством. У Гарриет расстройств не было, и она всегда знала, чего хочет. Она хорошо успевала в школе и поступила в художественный колледж, где выучилась графическому дизайну, который казался вполне приемлемым способом провести время до замужества. Вопрос, делать ли карьеру, никогда не занимал ее, хотя она подготовилась к обсуждению этой темы: не хотела показаться еще большей чудачкой, чем она и так была. Ее мать получила все, чего могла благоразумно пожелать, и была вполне довольна жизнью — так думала и мать, и дочери. Родители Гарриет не сомневались, что основой счастливой жизни служит семья.

Детство и юность Дэвида прошли совсем по-другому. Отец с матерью развелись, когда ему было семь. Он шутил — и слишком часто, — что у него два комплекта родителей: Дэвид был ребенком, у которого есть комнаты в двух домах, а все кругом сочувствуют его психологическим проблемам. Никакой грызни и ненависти не было, хотя неудобств и страданий детям хватало. Отчим Дэвида, второй муж матери, был ученым-историком и имел большой неухоженный дом в Оксфорде. Дэвиду нравился этот человек, Фредерик Бёрк, добрый, хотя

сдержанный, как и мать Дэвида, которая тоже была добра, но сдержанна. Комната в их коттедже стала для Дэвида домом и поныне оставалась в его воображении настоящим домом, хотя скоро он построит новый, с Гарриет, — продолжение и расширение прежнего. Того, который был у него в большой комнате в задней части оксфордского дома с видом на заброшенный сад: неприбранная комната, полная его отрочеством и довольно прохладная, на английский манер. Родной отец Дэвида женился на даме под стать ему самому: яркая, милая, практичная женщина с хорошим и циничным юмором богачки. Джеймс Ловатт был кораблестроителем, и когда Дэвид соглашался приехать к отцу в гости, его местом вполне могла стать койка на яхте или комната («Это комната, Дэвид») на вилле где-нибудь на юге Франции или на острове в Карибском море. Но Дэвид предпочитал старую комнату в Оксфорде. Он вырос с твердым требованием к собственному будущему: у его детей все будет абсолютно иначе. Он знал, чего хочет и какая женщина ему нужна. Если Гарриет ее будущее виделось на старинный манер: мужчина вручит ей ключи от королевства, где она найдет все, чего требует ее душа, по праву рождения, к исполнению которого она — сначала неосознанно, а потом весьма целеустремленно — давно шла, сторонясь любой грязи и лишних драм, то для Дэвида будущее было в том, чего он должен добиться, а потом защищать. И в этом его жена должна быть как он: знать, где находится счастье и как его сберечь. Когда он встретил Гарриет, ему было тридцать, и он работал в суровом режиме амбициозного человека, но работал он только ради своего будущего дома.

В Лондоне найти такой дом, как они хотели, для той жизни, какой они хотели, было невозможно. Вообще, они не были уверены, что хотят жить в Лондоне — нет, не хотели, им было бы лучше в каком-нибудь маленьком городишке с особой атмосферой. Они проводили выходные, рыская по городкам в ближайших окрестностях Лондона, и скоро нашли большой викторианский дом с запущенным садом. Превосходно! Только вот для молодой пары это был бы нонсенс: трехэтажный дом с чердаком, со множеством комнат, коридоров, лестниц... Много места для детей на самом деле.

Но они и собирались иметь кучу детей. Оба слегка демонстративно — из-за дерзости собственных запросов — заявляли, что «не возражали бы» против кучи детей.

— Пусть четверо или пятеро... или шестеро, — сказал Дэвид.

— Или шестеро! — сказала Гарриет, до слез хохоча от облегчения.

Они смеялись и катались по кровати, целовались и веселились без удержу оттого, что опасный момент, где каждый из них ожидал и даже готовился принять отказ или компромисс, оказалось, не таит никакой угрозы. Но если друг другу Дэвид и Гарриет могли сказать: «Шестеро детей, по меньшей мере», то никому другому — не могли. Даже при довольно приличной зарплате Дэвида вкупе с жалованьем Гарриет они не смогли бы выплатить закладную. Но они как-нибудь выкрутятся. Гарриет поработает еще пару лет, будет каждый день ездить вместе с Дэвидом в Лондон, и потом...

В день, когда они стали хозяевами большого дома, Гарриет и Дэвид стояли на крыльце, держась за руки, со всех сторон пели птицы — из сада, где сучья были еще черные и поблескивали под холодным дождем ранней весны. Они открыли входную дверь — сердца у них колотились от счастья — и, войдя в огромную комнату, остановились перед широкой лестницей. Кто-то из прежних владельцев понимал смысл дома так же, как Дэвид с Гарриет. Он убрал стены, и комната вобрала в себя почти весь первый этаж. Одну ее половину занимала кухня, ограниченная только низеньким барьером, на который можно было класть книги, другая половина давала место для диванчиков и стульев и всего простора и уюта большой семейной гостиной. Они ступали мягко, осторожно, едва дыша, улыбаясь и переглядываясь и улыбаясь еще больше оттого, что у обоих в глазах стояли слезы, — прошли по голым половицам, на которые скоро лягут ковры, и медленно поднялись по ступеням, на которых дожидались ковровой дорожки старинные медные прутья. Поднявшись на один пролет, они обернулись полюбоваться чудесной комнатой, которая станет сердцем их королевства. И взошли выше. На втором этаже была одна большая спальня — для них; к ней примыкала комнатка поменьше, которую всякий раз будет занимать новорожденный ребенок. И еще четыре славные комнаты было на втором этаже. Выше по основательной, но уже сузившейся лестнице — еще четыре спальни, а за окнами, как и в

комнатах этажом ниже, деревья, лужайки, сады — все пейзажи милой загородной жизни. А сверху был еще необъятный чердак — как раз для детей, когда они войдут в возраст тайных волшебных игр.

Дэвид и Гарриет медленно спустились по лестнице — один пролет, другой, они проходили комнату за комнатой, представляя, что те полны детьми, родственниками, гостями, — и снова пришли в свою спальню. В ней осталась большая кровать. Эту кровать специально сделали по заказу той пары, у которой Дэвид и Гарриет купили дом. Чтобы вынести кровать, сказал им агент, пришлось бы ее разобрать, да и хозяева все равно уезжают жить за границу. Гарриет с Дэвидом улеглись рядом на этой кровати и рассматривали свою комнату. Лежали тихо, трепеща перед тем, что приобрели. Казалось, тени сиреневого куста и мокрое солнце за ним соблазнительно рисовали на просторах потолка те годы, что Дэвид и Гарриет проживут в этом доме. Они повернули головы к окну, за которым виднелась верхушка сиреневого куста в крепких бутонах, готовых распуститься. Потом посмотрели друг на друга. Слезы текли у них по щекам. Они занялись любовью там, на своей кровати. Гарриет едва не закричала: «Нет, подожди! Что мы делаем?» Ведь они решили отложить рождение детей на два года? Но Дэвид захватил ее своей решительностью — да, это было так, он любил Гарриет с осознанным и сосредоточенным напором, глядя ей в глаза, и это подтолкнуло Гарриет отдаться ему, принять власть этого человека над ее будущим. Они не захватили презервативов (а таблеткам оба, конечно, не доверяли). У Гарриет были самые опасные дни. Но они с Дэвидом занялись любовью, занялись с торжественной преднамеренностью. Раз. И еще... И потом, когда в комнате стало темно, они снова любили друг друга.

— Ну, — сказала Гарриет, понизив голос, потому что была испугана, но решительно не хотела подать виду, — что ж, теперь-то уж точно, не сомневаюсь.

Дэвид засмеялся. Громким беззаботным нескромным смехом, что так не похоже на благопристойного, веселого, рассудительного Дэвида. В комнате было уже совсем темно, она казалась огромной, как черная бесконечная пещера. Где-то рядом царапала по стене дома ветка. Пахло холодной, мокрой после дождя землей и сексом. Дэвид лежал, улыбаясь сам себе, почувствовав взгляд Гарриет, чуть повернул голову,

и его улыбка поглотила Гарриет. Но на его условиях; в его глазах мелькал отблеск мыслей, в которые ей было не проникнуть. Гарриет поняла, что не знает Дэвида.

— Дэвид... — поторопилась она сказать, чтобы прогнать наваждение, но он крепче сжал объятия и стиснул ее плечо рукой, в которой Гарриет не подозревала такой силы и настойчивости. Это сжатие говорило: «Молчи!»

Они лежали рядом, пока не стала медленно возвращаться обыденность и можно было повернуться друг к другу и обменяться короткими ободряющими дневными поцелуями. Они встали с постели и оделись в холодной темноте: электричество еще не подключили. Тихо спустились по лестнице своего дома, во владение которым так основательно вступили, вышли в свою большую гостиную, потом — за дверь, в сад таинственный и неведомый, еще не их.

— Ну? — весело спросила Гарриет, когда они с Дэвидом сели в его машину, собираясь вернуться в Лондон. — И как мы будем выплачивать, если я забеременею?

В самом деле: как им было расплатиться? Гарриет и вправду забеременела в тот дождливый вечер в их новой спальне. Они пережили много неприятных минут, думая о скудости своих возможностей и о собственной несостоятельности. В такие моменты, когда не хватает материальных средств, тебя как будто судят — Гарриет и Дэвид казались себе нищими и беспомощными: и ничего за душой, кроме упрямой верности взглядам, которые люди всегда считали ложными.

Дэвид никогда не брал денег у своих обеспеченных отца и мачехи — они оплатили его образование, и только. (И образование его сестры Деборы, но той больше нравился образ жизни отца, как Дэвиду — матери, так что брат с сестрой нечасто встречались, и, как казалось Дэвиду, сущность разницы между ними состояла именно в этом — в том, что Дебора выбрала богатую жизнь.) Дэвид не хотел просить денег и теперь. А у английских родителей — так он стал называть мать и ее нового мужа, неприятных ученых, — денег было мало.

И вот они четверо — Гарриет с Дэвидом и мать Дэвида Молли с Фредериком — стояли однажды днем в большой гостиной у лестницы, обозревая новые владения. Там уже появился очень большой стол, за которым легко могли бы разместиться пятнадцать или двадцать человек, — в кухонной части, а еще пара больших диванов и несколько просторных кресел; все куплено с рук на местном аукционе. Дэвид и Гарриет стояли рядом, чувствуя себя еще более нелепыми чудаками и слишком зелеными в глазах этих двух пожилых людей, которые их сейчас судили. Молли и Фредерик были крупные неряшливые люди с сильно поседевшими головами, одевались они с самодовольным презрением к моде в то, что удобно. Сейчас они походили на два доброжелательных стога сена и *не* смотрели друг на друга, что было Дэвиду так знакомо.

— Ну ладно уже, — сказал он бодро, не выдержав напряжения. — Говорите.

И обнял Гарриет, бледную и изнуренную после утренней тошноты и недели, проведенной за отскабливанием полов и мытьем окон.

— Вы думаете открыть гостиницу? — спросил Фредерик мягко, не желая выносить суждений.

— Сколько детей вы собираетесь родить? — спросила Молли с коротким смешком, который означал, что возражать бесполезно.

— Много, — тихо ответил Дэвид.

— Да, — подтвердила Гарриет. — Да.

В отличие от Дэвида она не понимала, насколько раздосадованы эти двое родителей. Как и все люди их типа, создавая себе репутацию оригиналов, на деле они представляли собой квинтэссенцию обычности и не принимали никаких проявлений духа преувеличения или неумеренности. Таких, каким был этот дом.

— Поехали, мы угостим вас обедом, если тут найдется приличный ресторан, — сказала мать Дэвида.

За тем обедом они говорили о другом, пока за кофе Молли не заметила:

— Ты понимаешь, что тебе нужно просить помощи у отца?

Дэвид поморщился, словно от боли, но пришлось смириться: важнее всего был дом и их будущая жизнь в нем. Жизнь, которая — оба родителя поняли это по выражению непреклонного намерения, в котором читали сплошную юношескую заносчивость Дэвида, — должна восполнить, устранить, свести на нет все упущения их, Молли и Фредерика, жизни и жизни Джеймса и Джессики тоже.

Когда они расставались на темной стоянке у отеля, Фредерик сказал:

— Насколько я могу судить, вы оба сошли с ума. Ну, или сильно обманываетесь.

— Да, — сказала Молли. — Вы не продумали все как следует. Дети... Пока их не заведешь, нипочем не узнать, сколько с ними забот.

Тут Дэвид, рассмеявшись, озвучил аргумент — старый, который Молли узнала и встретила с понимающим смешком:

— В тебе мало материнского инстинкта. Это не твое. А в Гарриет много.

— Ладно, — ответила Молли, — жить-то тебе.

Она позвонила своему первому мужу, Джеймсу, который находился на яхте где-то у острова Уайт. Разговор окончился словами:

— Наверное, тебе лучше приехать и увидеть все самому.

— Хорошо, я приеду, — ответил тот, соглашаясь с тем, что было сказано, ровно столько же, сколько с тем, что сказано не было: неспособность понимать немой язык жены была главной причиной того, что Джеймс был рад с ней расстаться.

Вскоре после этого разговора Дэвид и Гарриет вновь стояли с родителями Дэвида — второй их парой, — созерцая дом. На этот раз стояли снаружи. Джессика стояла посреди лужайки, пока еще засыпанной древесными обломками зимы и ветреной весны, и критически разглядывала строение. Оно казалось ей мрачным и гадким, как и вся Англия. Джессика была ровесницей Молли, но выглядела на двадцать лет моложе — подтянутая, загорелая, она,

казалось, лоснилась от солнечного крема, даже когда ее кожа была суха. Волосы у нее были желтые, короткие и блестящие, одежда яркая. Вонзая каблуки малахитово-зеленых туфель в лужайку, она смотрела на своего мужа Джеймса.

Тот уже побывал в доме и теперь, как и ожидал Дэвид, сказал:

— Это хорошее вложение денег.

— Да, — сказал Дэвид.

— Цена не завышена. Думаю, это потому, что для среднего покупателя дом слишком велик. Как я понял, техническое заключение в порядке?

— Да, — сказал Дэвид.

— В таком случае я возьму на себя обязательства по закладной. Сколько она будет выплачиваться?

— Тридцать лет, — сказал Дэвид.

— Я к тому времени, наверное, умру. Что ж, на свадьбу я тебе толком ничего не подарил.

— Тебе придется сделать то же самое и для Деборы, — сказала Джессика.

— Для Деборы мы уже сделали гораздо больше, чем для Дэвида, — ответил Джеймс. — В любом случае это нам по силам.

Она засмеялась и пожала плечами: деньги были в основном ее. Такое легкое отношение к деньгам отличало их совместную жизнь, которую Дэвид, попробовав, яростно отверг и предпочел скряжничество оксфордского дома — хотя никогда не произносил вслух этого слова. Броская и слишком уж легкая — такой была жизнь богатых; но теперь он будет к ней причастен.

— И сколько детей вы запланировали, можно спросить? — поинтересовалась Джессика с видом попугая, приземлившегося на этой сырой лужайке.

— Много, — ответил Дэвид.

— Много, — ответила Гарриет.

— Ну будь по-вашему, — сказала Джессика, и на этом вторые родители Дэвида покинули сад, а там и Англию с облегчением.

После чего на сцене появилась Дороти, мать Гарриет. Ни Гарриет, ни Дэвид и не подумали бы вздыхать о том, как это ужасно, что мама все время здесь: если их семейная жизнь будет такой, как они задумали, Дороти обязательно придется приходить к ним помогать Гарриет, хотя всякий раз она будет настаивать, что у нее своя жизнь, к которой ей нужно вернуться. Дороти была вдова, и эта ее своя жизнь состояла в основном из посещения дочерей. Семейный дом продали, и теперь у нее была маленькая квартира, не бог весть что, но Дороти не жаловалась. Осознав размеры и возможности нового дома, несколько дней Дороти была необычно молчалива. Вырастить трех дочерей ей оказалось нелегко. Покойный муж был инженером-химиком, неплохо зарабатывал, но денег никогда не было много. Дороти знала, сколько во всех смыслах стоит семья, даже небольшая.

Раз за ужином она попыталась высказать несколько замечаний в этом духе. Дэвид, Гарриет, Дороти. Дэвид только что пришел домой, припозднился: поезд задержали. Ежедневные поездки не обещали особой радости, это было самое худшее для всех и особенно для Дэвида, поскольку добраться на работу и с работы занимало у него почти два часа в один конец. Это включено в стоимость мечты.

Кухня была уже почти такой, какой должна стать: большой стол с тяжелыми деревянными стульями вокруг — сейчас их только четыре, но еще несколько стоят вдоль стены в ожидании гостей и пока еще не рожденных людей. Большая плита марки «Ага» и старинный буфет с чашками и кружками на крючках. Вазы наполнены цветами из сада, где лето обнаружило множество роз и лилий. На ужин традиционный английский пудинг, приготовленный Дороти; за окнами осень заявляет о себе опадающими листьями, которые время от времени ударяют в стекло с негромким стуком или звоном, завыванием ветра. Но в доме опустили шторы — теплые толстые шторы в цветочек.

— Знаете, — начала Дороти, — я тут думала о вас двоих.

Дэвид положил ложку, чтобы ее выслушать, чего он никогда не делал для своей наивной матери или практичного отца.

— Не думаю, что вы должны сразу во все это бросаться — нет, дайте мне сказать. Гарриет всего двадцать четыре, нет еще и двадцати пяти. Тебе, Дэвид, только тридцать. Вы ведете себя так, будто думаете, что если чего не схватите сейчас, то потеряете навсегда. Ну, такое впечатление у меня возникло по вашим разговорам.

Дэвид и Гарриет слушали: их взгляды встречались, хмурые, задумчивые. Эту крупную, надежную и грубоватую Дороти, с ее решительными движениями и основательными манерами, нельзя было игнорировать; чего стоит Дороти, они понимали.

— Я так и думаю, — сказала Гарриет.

— Да, девочка, я знаю. Вчера вы говорили, что заведете нового ребенка сразу же. Мне думается, ты быстро пожалеешь.

— Все в любой момент *может* исчезнуть, — сказал Дэвид упрямясь.

Это жестокое замечание, проявление — обе женщины знали — чего-то затаенного вполне подтверждали новости, сыпавшиеся из приемника. Всюду плохие дела: не сравнить с тем, какими новости скоро станут, но довольно грозные.

— Задумайтесь, — сказала Дороти, — вам бы стоило. Иногда мне за вас страшно становится. А почему — сама не знаю.

Гарриет горячо возразила:

— Наверное, нам нужно было родиться в другой стране. Ты понимаешь, что в других местах шестеро детей — это норма, никого не шокирует, *никто* себя из-за этого преступником не чувствует.

— Это мы тут в Европе ненормальные, — сказал Дэвид.

— Ну, не знаю, — сказала Дороти, не менее упрямая, чем любой из них. — Но если у вас будет шесть, или восемь, или десять — нет, я знаю твои мысли, Гарриет, я тебя знаю, разве нет? — и это будет в другой части мира, например, в Египте, в Индии или еще где, то половина из

них умрет, а образования не получит никто. Вам надо все сразу. Аристократы — да, они могут плодиться как кролики и ожидать этого, но у них на это есть деньги. И бедные могут ожидать этого и иметь детей, и половина из них умрет. Но люди вроде нас посередине — нам рожать детей надо осторожно, чтобы хватило сил о них заботиться. Мне кажется, вы не продумали это... Нет, я пойду сварю кофе, а вы, двое, посидите.

Дэвид и Гарриет прошли через широкий проем в перегородке, отделяющей кухню, к дивану в гостиной и сели там, взявшись за руки: щуплый, упрямый, слегка взвинченный молодой человек и огромная, покрасневшая, неуклюжая женщина. Гарриет была на девятом месяце, и беременность проходила нелегко. Ничего серьезного, но ее все время тошнило, Гарриет плохо спала от диспепсии и была очень недовольна собой. Они удивлялись, почему другие все время их осуждают. Дороти принесла кофе, поставила, сказала:

— Посуду я помою — нет-нет, сиди. — И пошла обратно, к раковине.

— Но я *так* чувствую! — говорила расстроенная Гарриет.

— Да.

— Нужно заводить детей, пока можем.

Дороти, стоя у раковины, сказала:

— Когда началась война, говорили, что рожать детей — безответственность, но мы же рожали, правда?

Она засмеялась.

— Потому ты здесь, — сказал Дэвид.

— И мы вырастили их, — сказала Дороти.

— Что ж, определенно я здесь, — сказала Гарриет.

Своего первого ребенка, Люка, она родила на большой супружеской кровати, под присмотром акушерки и в присутствии доктора Бретта. Дэвид и Дороти держали Гарриет за руки. Разумеется, доктор хотел, чтобы Гарриет рожала в больнице. Но она проявила твердость; доктор этого не одобрил.

Был холодный ветреный вечер, сразу после Рождества. В комнате было тепло и красиво. Дэвид плакал. Дороти плакала. Гарриет смеялась и плакала. Акушерка и врач стояли со скромным, но праздничным и победным видом. Все пили шампанское и омочили им голову маленького Люка. Был 1966 год.

Люк был спокойным ребенком. В маленькой комнате при большой спальне он спал как ангел, с удовольствием сосал грудь. Счастье! По утрам, едва Дэвид убежал, торопясь на лондонский поезд, Гарриет садилась в кровати и кормила ребенка, попивая принесенный мужем чай. Когда Дэвид наклонялся поцеловать Гарриет на прощание и гладил головку Люка, в нем сквозило неистовое собственничество, которое Гарриет понимала и ценила, потому что собственностью была не она и не ребенок, но счастье. Его и ее.

Пасха стала их первым семейным праздником. Комнаты были подобающе, пусть и скупо, обставлены, их обживали две сестры Гарриет, Сара и Анджела, и их мужья и дети; Дороти, в своей стихии, и ненадолго — Молли и Фредерик, которые позволяли себе иногда развлечься, хотя семейная жизнь в таких масштабах была не по ним.

Знатоки английской жизни уже должны понять, что в той важной, хотя и нигде не зарегистрированной шкале — английской классовой системе — Гарриет стояла заметно ниже Дэвида. Это обнаруживалось уже через пять секунд после встречи кого-нибудь из Ловаттов или Бёрков с кем-нибудь из Уокеров, но никогда не обсуждалось, по крайней мере, вслух. Уокеров не удивило, что Фредерик и Молли собирались остаться только на два дня, как и то, что они передумали, едва появился Джеймс Ловатт. Подобно многим супругам, расставшимся из-за несовместимости характеров, Молли и Джеймс радовались встречам, когда знали, что встреча продлится недолго. На самом деле все были довольны и соглашались, что дом просто создан для такого. Вокруг большого семейного стола, где легко помещалось так много стульев, люди засиживались за долгими приятными обедами или собирались там между трапезами попить чаю или кофе и поговорить. И посмеяться... Заслышав смех, голоса или детскую возню, Гарриет и Дэвид у себя в комнате или, скажем, спускаясь по лестнице, брались за руки, улыбались и светились от счастья. Никто не знал, даже Дороти — только не Дороти, — что Гарриет снова беременна. Люку было три месяца. Они не хотели, чтобы Гарриет забеременела, — еще хотя бы год. Но так получилось.

— Могу поклясться, эта комната располагает к зачатию, — говорил со смехом Дэвид. Их приятно мучила совесть. Лежа в кровати и слушая, как маленький Люк возится в соседней комнате, они решили никому не говорить ни слова, пока не разъедутся все гости.

Когда Дороти узнала, она опять долго молчала, потом сказала:

— Что ж, я вам понадобится, верно?

Она понадобилась. Беременность, как и предыдущая, была нормальной, но Гарриет было тяжело, ее тошнило, и она думала, что, не изменяя намерениям насчет шести (или восьми, или десяти) детей, уж точно постарается, чтобы между этой и следующей беременностью получился хороший перерыв.

До конца года Дороти любезно оставалась в их доме, возилась с Люком и помогала шить занавески для комнат третьего этажа.

К Рождеству Гарриет опять стала огромной — она была на восьмом месяце — и подтрунивала над собой из-за размеров и неповоротливости. Дом был полон народу. Все, кто приезжал сюда на Пасху, приехали снова. Все признавали за Гарриет и Дэвидом талант к таким вещам. Приехала двоюродная сестра Гарриет с тремя детьми — она слышала про чудесное пасхальное веселье, растянувшееся на неделю. Приехал коллега Дэвида с женой. Рождество продолжалось десять дней, и один пир сменялся другим. Младенец лежал в коляске в большой комнате, и все суетились вокруг него, а дети таскали его на руках, как куклу. Ненадолго приехала и Дебора, сестра Дэвида, спокойная привлекательная девушка, которая вполне могла показаться дочерью Джессики, а не Молли. Незамужняя, хотя у нее были, по ее словам, «близкие попадания». По своему общему стилю она так далеко стояла от прочих гостей, простых британцев, как они сами себя звали, сравниваясь с Деборой, что эта разница стала расхожей шуткой. Дебора всегда жила в богатстве, досадовала на неопрятную надменность материнского дома и терпеть не могла большие скопления народу, но и она призналась, что праздник показался ей занятым.

Двенадцать взрослых и десять детей. Заходили и соседи, которых приглашали, но атмосфера родственного сборища была плотной и выталкивала их. Гарриет с Дэвидом торжествовали: их упрямство, которое все ругали и высмеивали, сотворило чудо — им удалось объединить этих разных людей и заставить их понравиться друг другу.

Второй ребенок, Хелен, родилась, как и Люк, на супружеской кровати, при этом присутствовали те же люди, и снова голову младенца смочили шампанским, и снова все плакали. Люка выселили из комнаты малыша в спальню дальше по коридору, и его место заняла Хелен.

При всей усталости — а по сути, измождении — Гарриет гостей на Пасху пригласили опять. Дороти возражала.

— Ты устала, дочка, — сказала она, — ты вымоталась до последнего. — Потом, увидев лицо Гарриет: — Ладно, как хочешь, но ты ничего не будешь делать, поняла?

Сестры Гарриет и сама Дороти взяли на себя покупки и готовку, всю тяжелую работу.

На первом этаже среди массы народу — а дом опять был полон — обретались два маленьких создания, Хелен и Люк — оба с пушистыми светлыми волосиками, голубыми глазами и розовыми щечками. Люк ковылял по гостиной, где каждый норовил ему помочь, Хелен лежала в коляске.

Летом — шел 1968-й — дом заполнился до чердака, съехалась почти вся родня. Этот дом располагался так удобно: по утрам гости вместе с Дэвидом уезжали в Лондон и с Дэвидом же возвращались. В двадцати минутах езды — природа и чудесные места для прогулок.

Все время кто-нибудь приезжал или уезжал, люди говорили, что погостят пару дней, и оставались на неделю. А кто за все это платил? Да, конечно, каждый вносил понемногу, и, конечно, этого не хватало, но все знали, что отец Дэвида богат. Если бы он не платил по закладной, никаких праздников тут бы не было. Денег всегда оказывалось в обрез. Экономили: в огромный гостиничный холодильник, купленный с рук, набили летних фруктов и овощей. Дороти, Анджела и Сара закупоривали банки с джемами и чатни.^[1] Пекли хлеб, и по всему дому пахло свежей выпечкой. Это было счастье в старинном стиле.

Впрочем, не все шло безоблачно. Сара с ее мужем Уильямом были несчастливы в браке, то и дело ссорились и мирились, но Сара была беременна в четвертый раз, и о разводе не могло быть речи.

Рождество, с таким же развеселым гуляньем, наступило и миновало. И снова Пасха... иной раз они удивлялись: где только размещается столько гостей?

Пятно на семейном счастье — разлад у Сары и Уильяма — исчезло: его затмила худшая беда. Их последний ребенок родился с синдромом Дауна, теперь им нечего было и думать о расставании. Дороти иногда вздыхала, жалея, что не может раздвоиться, ведь Саре она нужна не

меньше, а даже больше, чем Гарриет. И она в самом деле уезжала навещать свою Сару, которую постигло горе, тогда как Гарриет была благополучна.

Джейн родилась в 1970-м, когда Хелен было два года. Слишком скоро, пеняла им Дороти — зачем так торопиться?

Хелен переселилась в комнату Люка, а Люк — на одну дверь дальше по коридору. Из комнаты малыша от Джейн слышались звуки довольной возни, двое старшеньких приходили пообниматься и поиграть на большую родительскую кровать или навещали Дороти в ее постели и играли там.

Счастье. Счастливая семья. Ловатты были счастливой семьей. Они хотели этого и добились. Часто, когда Дэвид и Гарриет лежали, повернувшись лицом к лицу, казалось, что в груди у обоих распахиваются дверцы и наружу изливается мощный поток успокоения и благодарности, которые их по-прежнему удивляли: в конце концов, терпеть так долго, как это им теперь казалось, было непросто. Трудно сохранить веру в себя, когда дух эпохи, жадных и эгоистичных шестидесятых, на каждом шагу проклинал, изгонял и затапывал твои лучшие качества. Выходит, они делали правильно, что так упорно хранили свою неудобную индивидуальность, которая настойчиво требовала лучшего — такой жизни.

За пределами этого счастливого места, их семьи, бушевали и ревели стихии большого мира. Славные беззаботные времена ушли навсегда. На фирме Дэвида дела пошли на спад, и Дэвид не получил ожидаемого продвижения, но другие вовсе потеряли работу, и ему еще повезло. Остался без работы муж Сары. Та печально шутила, что они с Уильямом притягивают все отпущенные роду несчастья.

Гарриет сказала Дэвиду с глазу на глаз, что не верит, будто это было просто невезенье: несчастливый брак Сары и Уильяма, их скандалы, возможно, и притянули им узкоглазого ребенка — да, да, конечно, она знает, что нельзя его так называть. Но малышка и правда смахивает на Чингисхана, правда же? Младенец Чингисхан с плоским лицом и щелочками глаз. Дэвиду не нравилась эта черта Гарриет, фатализм,

который, казалось, противоречил всему остальному ее характеру. Дэвид сказал, что считает такие мысли глупой истерикой, Гарриет обиделась, и им пришлось мириться.

Городок, в котором они жили, за пять лет изменился. Жестокость и преступления, прежде казавшиеся дикостью, стали обычным явлением. По кафе и подворотням шлялись молодежные банды, для которых не существовало никаких авторитетов. Соседний с Ловаттами дом обворовывали уже трижды, Ловаттов — пока ни разу, но у них все время кто-нибудь был дома. В конце улицы стояла телефонная будка, которую столько раз громили, что власти сдались: она так и стояла разбитой. В те дни Гарриет не стала бы мечтать о ночных прогулках одной, а ведь прежде ей и в голову бы не пришло бояться пойти, куда она хочет, будь то днем или ночью. События принимали скверный оборот: все больше казалось, что в Англии живет не один, а два народа — враждебных, ненавистных друг другу, не способных друг друга услышать. Молодые Ловатты заставляли себя читать газеты и смотреть новости по телевизору, хотя то и другое им претило. В конце концов, нужно было знать, что происходит за стенами их крепости, их королевства, в котором подрастают три чудесных ребенка и куда приезжает так много людей, чтобы окунуться в уют, доброту и покой.

Четвертый ребенок, Пол, родился в 1973-м, между Рождеством и Пасхой. Гарриет чувствовала себя не очень хорошо: беременность опять проходила негладко, с множеством мелких осложнений — ничего серьезного, но Гарриет утомлялась.

Пасхальные праздники были самыми лучшими за все время: это вообще был для них самый лучший год, и потом, когда он вспоминался, казалось, что весь он был сплошным праздником, что возобновился из источника сердечного гостеприимства, хранителями которого были Дэвид и Гарриет, начался на Рождество, когда Гарриет уже настолько отяжелела, что все ухаживали за ней, делили между собой хлопоты — готовили волшебные блюда, заботились о будущем ребенке... и все знали, что близится Пасха, потом долгое лето, а потом опять Рождество...

Пасха растянулась на три недели — на все школьные каникулы. Дом был переполнен. У троих старших детей были свои комнаты, но, когда

понадобились места для гостей, всех детей поселили в одной комнате. Само собой, они были в восторге.

— А почему не позволить им всегда спать вместе? — спрашивала Дороти или кто-нибудь из гостей. — Такой мелкоте, и каждому — своя комната!

— Это важно, — ответил Дэвид, злясь. — У каждого должна быть своя комната.

Тут родственники переглянулись, как переглядываются, споткнувшись обо что-то в близком человеке, и Молли, которая чувствовала, что ее вроде и ценят, но при этом как-то смутно и порицают, сказала:

— У каждого человека на свете. На всей земле!

Она хотела пошутить.

Эта сцена произошла во время завтрака — или, скорее, в середине утра: в большой комнате завтрак продолжался до обеда. Все взрослые еще сидели у стола, пятнадцать человек. Дети играли в гостиной, среди диванов и стульев. Молли и Фредерик, как всегда, сидели рядом со своим обычным видом, будто все вокруг они рассматривают с позиций Оксфорда — за этот вид здесь часто над ними подтрунивали, но они, казалось, не противились и отбивались в шутку. Джеймсу, отцу Дэвида, Молли снова писала, что ему нужно «раскошелиться», а то молодая пара просто не в силах прокормить всю ораву, и так далее. Джеймс выслал щедрый чек, а потом приехал и сам. Джеймс сидел напротив бывшей жены и ее нынешнего мужа, и, как это всегда бывало, на глазах у всех два человека разной породы разглядывали друг друга, недоумевая, как они могли когда-то быть парой. Джеймс был экипирован так, будто собрался заниматься спортом; и в самом деле скоро он уехал кататься на лыжах, как и Дебора, сохранявшая в доме Ловаттов легкий образ экзотической птички, которая присела в странном месте и задержалась там из любопытства — восхищения Дебора никогда бы не выказала. Здесь же была Дороти, подавала чай и кофе. Сидели Анджела с мужем, трое их детей играли тут с остальными. Анджела, прагматичная, живая («молодчина», как говорила о ней Дороти, «слава богу» оставалось невысказанным), не особо скрывала свои чувства, что сестры полностью забрали себе Дороти, ничего не

оставив ей. Анджела была вроде умной и хорошенькой маленькой лисички. Сара с мужем, кузены и кузины, друзья — в каждом углу большого дома кто-нибудь приткнулся, спали даже на диванах в гостиной. Чердак уже давно превратили в спальню: там на матрасах и в спальных мешках могло расположиться любое количество детей. Взрослые сидели в большой уютной комнате, где горели в камине дрова, которые вчера все собирали, когда гуляли в лесу, а в комнатах наверху раздавались голоса и звучала музыка. Кто-то из детей постарше разучивал песню. Это был дом — что отмечали все, восхищаясь тем, чего не могли добиться сами, — где телевизор смотрели нечасто.

Уильяма, мужа Сары, не было за столом — он сидел на перегородке, и это небольшое расстояние выражало его отношение к родству с этой семьей. Он дважды уходил от Сары и возвращался. Любому было очевидно, что так будет и дальше. Уильям нашел работу, довольно жалкую, в строительстве, но проблема была в том, что его пугали телесные отклонения, а их девочка с синдромом Дауна была ему отвратительна. И все же он был крепко привязан к Саре. Они были под стать друг другу: оба рослые, крепко сложенные, темные, как два цыгана, и все время в ярких одеждах. Но когда Сара держала на руках бедняжку Эми, тщательно прикрытую, чтобы она никого не смущала, Уильям смотрел куда угодно, только не на жену.

Вместо этого он смотрел на Гарриет — она кормила двухмесячного Пола, сидя на большом стуле, который считался ее стулом, потому что был удобен для кормления.

Гарриет выглядела утомленной. Ночью Джейн не давали спать зубы, и она звала маму, а не бабушку.

Произведя на свет четырех новых людей, Гарриет сильно не изменилась. Вот она сидит во главе стола, синяя рубашка распахнута с одной стороны, и видно часть белой груди с голубыми прожилками вен и энергично движущуюся маленькую головку Пола. Губы Гарриет характерно плотно сжаты, она наблюдает за происходящим вокруг: здоровая, привлекательная молодая женщина, полная жизни. Только усталая... Дети прибежали, бросив игру, и потребовали ее внимания, и Гарриет, вдруг раздосадованная, отрезала:

— Почему бы вам не подняться поиграть на чердаке?

Это не было на нее похоже — снова взрослые за столом переглянулись: кому взять на себя труд избавить Гарриет от шумных детишек. В итоге Анджела ушла с детьми.

Гарриет огорчило, что она злилась.

— Я всю ночь не спала, — начала было она, но Уильям перебил ее, отнимая инициативу высказать то, что думали они все; Гарриет понимала это и даже знала, почему сказать должен Уильям, недобросовестный муж и отец.

— Теперь так и будет, сестрица Гарриет, — объявил он, подаваясь вперед со своего барьера и вскидывая руки, как дирижер. — Сколько тебе лет? Нет, не говори, я знаю; и за шесть лет ты родила четверых детей.

Он огляделся, чтобы убедиться, что остальные за него — так и было, и Гарриет видела это. Она иронично улыбнулась.

— Преступница, — сказала она. — Вот я кто.

— Сделай перерыв, Гарриет. Это все, о чем мы просим, — продолжил Уильям все более и более веселым и наигранным тоном — в своей обычной манере.

— Это говорит отец четверых, — сказала Сара, прижимая к себе свою бедную Эми и вынуждая остальных сказать вслух то, что они, должно быть, думали: что она переступила через себя, дабы поддержать своего никудышного мужа перед всеми.

Уильям послал ей благодарный взгляд, стараясь не смотреть на горестный сверток, который она оберегала.

— Да, но мы хотя бы растянули это на десять лет, — договорил он.

— Мы собираемся сделать перерыв, — объявила Гарриет. И добавила с вызовом в голосе: — По крайней мере, на три года.

Все переглянулись: Гарриет показалось, осуждающе.

— Я говорил вам, — сказал Уильям. — Эти безумцы намерены продолжить.

— Эти безумцы определенно намерены, — сказал Дэвид.

— Я так и сказала, — вступила в разговор Дороти. — Если уж Гарриет взбредет в голову какая-то мысль, отговаривать ее бесполезно.

— Как и ее матери, — уныло добавила Сара: она имела в виду, что, несмотря на ущербного ребенка, Дороти решила, будто нужна Гарриет больше, чем Саре.

«Ты намного крепче ее, Сара, — говорила ей Дороти. — Беда Гарриет в том, что ей хочется больше, чем она может съесть».

Дороти сидела рядом с Гарриет, на руках у нее дремала малышка Джейн, вялая после беспокойной ночи. Дороти сидела прямо и прочно, губы сурово сжаты, глаза не упускают ничего.

— А что плохого? — сказала Гарриет. Она улыбнулась матери: — Что я еще могу?

— Они собираются родить еще четверых, — заявила Дороти, обращаясь к остальным.

— Боже милостивый! — сказал Джеймс, восхищаясь и ужасаясь. — Ну и пусть, я ведь так много зарабатываю.

Дэвиду это не понравилось: он вспыхнул и потупился.

— О, Дэвид, не нужно, — сказала Сара, стараясь не показаться резкой: ей страшно не хватало денег, но это Дэвиду досталась хорошая работа, и это ему так много помогали.

— Но вы ведь не собираетесь вправду рожать еще четверых? — спросила Сара, вздохнув; все понимали, что она имеет в виду: еще четыре раза испытывать судьбу.

Сара нежно опустила руку на голову спящей Эми, покрытую платком, оберегая ее от всего мира.

— Нет, мы собираемся, — сказал Дэвид.

— Да, обязательно собираемся, — сказала Гарриет. — Вот то, чего на самом деле хочется каждому, но людям промыли мозги. Всем хочется так жить, это правда.

— Счастливые семейства, — язвительно сказала Молли: она была сторонницей такой жизни, в которой быт занимал свое скромное место, оставаясь фоном для чего-то более важного.

— Центр этой семьи — *мы*, — ответил Дэвид. — Мы, то есть я и Гарриет, а не ты, мама.

— Боже сохрани! — сказала Молли, и ее большое лицо, и без того довольно румяное, зарделось еще сильнее: ее взяла досада.

— Да, конечно, — продолжил ее сын. — Это никогда не был твой стиль.

— И уж точно не мой, — вступил Джеймс, — и я не собираюсь просить за это прощения.

— Но ты всегда был чудесным отцом, супер, — прощепетала Дебора. — А Джессика — чудесной мамочкой.

Ее настоящая мать вскинула свои массивные брови.

— Что-то не могу вспомнить, чтобы ты хоть раз дала Молли проявить себя, — заметил Фредерик.

— Но в Англии так хо-о-олодно, — простонала Дебора.

Джеймс, в своем ярком, слишком ярком костюме — статный, хорошо сохранившийся джентльмен, приодевшийся для южного лета, — позволил себе иронически фыркнуть с высоты возраста на бестактность молодых и взглядом извинился за Дебору перед бывшей женой и ее новым мужем.

— Как бы там ни было, — подчеркнул он, — это *не мой* стиль. Ты ошибаешься, Гарриет. Верно противоположное. Людям промыли мозги, чтобы они верили, что семья — это лучшее в жизни. Но это уже в прошлом.

— Но если вам все это не нравится, тогда почему вы здесь? — спросила Гарриет, слишком воинственно для мирной утренней сцены. И тут же залилась краской и воскликнула: — Нет, я не хотела.

— Конечно, не хотела, — сказала Дороти. — Ты переутомилась.

— Мы здесь, потому что здесь здорово, — сказала двоюродная сестра Дэвида, школьница.

У нее были несчастные или, по крайней мере, трудные отношения в семье, и она пристрастилась все каникулы проводить у Ловаттов, а родители были довольны тем, что их дочь повидает настоящую семейную жизнь. Звали ее Бриджит.

Дэвид и Гарриет обменивались долгими ободряющими, веселыми взглядами, как было у них в обычае, и не услышали девочку, которая теперь бросала на них горькие взоры.

— Эй вы, двое, — сказал Уильям. — А ну скажите Бриджит, что не гоните ее.

— Что? А в чем дело? — завелась Гарриет.

Уильям сказал:

— Бриджит надо услышать, что она у вас желанный гость. Да, в общем, и всем нам нужно время от времени, — добавил он своим игривым тоном и, не удержавшись, посмотрел на жену.

— Ну ясно, ты желанный гость, Бриджит, — сказал Дэвид. И значительно посмотрел на Гарриет, которая тут же сказала:

— Ну разумеется. — Она имела в виду, что это понятно и без слов; и за этим лежал вес тысячи супружеских разговоров, который заставил Бриджит посмотреть на Дэвида, потом на Гарриет, потом опять на Дэвида, а потом оглядеть всех, кто был за столом, и сказать:

— Когда я выйду замуж, я буду жить так же. Как Гарриет и Дэвид, иметь большой дом и кучу ребятишек... и все вы будете там желанными гостями. — Ей было пятнадцать — простая темноволосая пухлая

девчушка, которая, как все понимали, скоро расцветет и будет красавицей. Ей это говорили.

— Естественно, — невозмутимо сказала Дороти. — У тебя сейчас-то, по сути, никакого дома нет, вот ты и ценишь его.

— Что-то не сходится в этой логике, — сказала Молли.

Девочка растерянно окинула взглядом стол.

— Мама хочет сказать, что ценить можно только то, что ты сам испытал, — сказал Дэвид. — Но я — живое свидетельство того, что все не так.

— Если ты хочешь сказать, что у тебя не было нормального дома, — отреагировала Молли, — так это просто чушь.

— У тебя их было два, — сказал Джеймс.

— У меня была комната, — сказал Дэвид. — Моим домом была *моя комната*.

— Что ж, мы, конечно, благодарны тебе за это признание. Я вот и не догадывался, что ты чувствовал себя обделенным, — сказал Фредерик.

— Никогда не чувствовал — у меня была своя комната.

Молли и Фредерику осталось только пожать плечами и усмехнуться.

— Насколько я могу заметить, вы еще даже не думали, какого труда стоит дать им всем образование, — сказала Молли.

Тут обнажилось различие, которое столь успешно сглаживалось порядками этого дома. Без слов стало ясно, что Дэвид учился в частной школе.

— Люк в этом году пойдет в местную школу, — сказала Гарриет. — А Хелен — на будущий год.

— Ну, если это вас устраивает... — сказала Молли.

— Мои трое ходили в обычную школу, — не спустила Дороти, но Молли не приняла вызов. Она продолжила:

— Так что, если только Джеймс не предложит помощь... — давая этим понять, что они с Фредериком помочь не могут или не хотят.

Джеймс промолчал. Он не позволил себе даже иронического вида.

— Еще пять и шесть лет до тех пор, как придет пора думать о следующем этапе образования для Люка и Хелен, — сказала Гарриет, снова слишком сварливым тоном.

А Молли настаивала:

— Дэвида мы записали в школу, едва он родился. И Дебору тоже.

— И чем, — спросила Дебора, — я с моими расфуфыренными школами лучше Гарриет или кого-нибудь еще?

— Точно, — сказал Джеймс, который платил за расфуфыренные школы.

— Да ничего не точно, — сказала Молли.

Уильям вздохнул и продолжал ерничать:

— Несчастные мы, остальные. Бедный Уильям. Бедная Сара. Бедная Бриджит. Бедная Гарриет. Скажите, Молли, если бы я ходил в престижные школы, была бы у меня теперь нормальная работа?

— Не в этом дело, — ответила Молли.

— Она хочет сказать, что с хорошим образованием ты был бы не так жалок без работы или на паршивой работе.

— Простите меня, — сказала Молли, — но государственное образование кошмарно. И становится все хуже. Дэвиду с Гарриет нужно выучить уже сейчас четверых детей. И это, видимо, еще не все. Откуда вы знаете, что Джеймс всегда будет вам помогать? В жизни все может произойти.

— И постоянно происходит, — с горечью сказал Уильям и рассмеялся, чтобы смягчить свои слова.

Гарриет огорченно завозила на стуле, отняла Пола от груди, спрятав ее от чужих глаз с ловкостью, которую все заметили и восхитились, и сказала:

— Я не хочу продолжать этот разговор. Такое хорошее утро...

— Я помогу, конечно, насколько смогу, — сказал Джеймс.

— Ах, Джеймс... — сказала Гарриет, — спасибо... спасибо вам. Как мило... А может, нам пойти погулять в лес?.. На обед можно устроить пикник.

Утро пролетело. Наступил полдень. Солнце зажгло края отчаянно-желтых штор, превратив их в густо-оранжевые, бросив оранжевые ромбы гореть на столе между чашек и блюдец и вокруг вазы с фруктами. Дети спустились с верхнего этажа и играли в саду. Взрослые подошли к окнам посмотреть. Сад оставался в запустении: на него никогда не оставалось времени. Лужайка местами заросла, по ней были разбросаны игрушки. В кустах пели птицы, не обращая внимания на детей. Крошка Джейн, сидевшая подле Дороти, заковыляла к остальным детям. Те шумно играли вместе, но Джейн была еще слишком мала и блуждала среди них в своей собственной вселенной двухлетнего ребенка. Они ловко переиначили игру для нее. Неделю назад, в пасхальное воскресенье, в саду были спрятаны крашеные яйца. Чудесный был день, дети отовсюду несли волшебные яйца, на раскрашивание которых Гарриет, Дороти и школьница Бриджит потратили целую ночь.

Гарриет с ребенком на руках стояла у окна рядом с Дэвидом. Он приобнял ее. Они быстро переглянулись, слегка виновато — из-за своих безудержных улыбок, которые, как они догадывались, могут кого-то и рассердить.

— Вы неисправимы, — сказал им Уильям. — Безднадежны, — констатировал он для остальных. — Ладно, кого это не устраивает? Только не меня! Так почему мы не отправляемся на пикник?

Компания заняла пять машин, дети вклинивались между взрослыми или влезали на колени.

Так и проходило лето: два месяца миновало, и вновь родня собралась и разъехалась, и собралась снова. Бриджит была у них все время, бедняжка быстро прикипела к чуду семьи. Пожалуй, даже сильнее, чем Дэвид и Гарриет. Не раз, замечая лицо девочки — трепетное, даже благоговейное, постоянно внимательное, будто Бриджит боялась на миг ослабить внимание, чтобы не пропустить сошествие божества или благодати, — они оба видели в ней себя. И даже с тревогой видели себя. Это было слишком... через край... Конечно, им приходилось говорить ей: «Послушай, Бриджит, не ожидай слишком многого. Жизнь не такая!» Но жизнь такая, если правильно выбирать: так почему им кажется, что у Бриджит не может быть того, что в таком изобилии есть у них?

Еще до того, как вся орда собралась к Рождеству 1973 года, Гарриет опять была беременна. К своему и Дэвида полному ужасу. Как это могло произойти? Они были осторожны, особенно осторожны после того, как решили некоторое время больше не рожать детей. Дэвид

пытался шутить: «Это все комната, клянусь, она настоящая фабрика младенцев».

Они решили пока не говорить Дороти. Все равно ее не было — Сара сказала, что это несправедливо, когда помощь достается одной Гарриет. А Гарриет просто не справлялась. Одна за другой у них сменились три девушки-помощницы; они только что закончили школу и не могли быстро найти работу. И помощи от них было немного. Гарриет казалось, что она заботилась о помощницах больше, чем те заботились о ней. Они могли прийти или не прийти по настроению, сидели, празднично попивая чай с подружками, пока Гарриет трудилась. Отчаянная, обессиленная, она брюзжала, срывалась, рыдала... Дэвид застал ее однажды на кухне: Гарриет сидела, подперев голову руками, и бормотала, что этот новый плод отравляет ее, Пол хныкал в коляске, забытый. Дэвид взял на работе двухнедельный отпуск, чтобы помогать Гарриет дома. Оба всегда понимали, как много обязаны Дороти, но теперь поняли это еще лучше — как и то, что, услышав о новой беременности Гарриет, Дороти очень рассердится. Очень. И будет права.

— К началу Рождества станет полегче, — плакала Гарриет.

— Ты, конечно, шутишь, — сказал Дэвид, закипая. — Разумеется, на это Рождество мы никого не сможем позвать.

— Намного лучше, когда здесь люди, мне все помогают.

— Хотя бы разок поедем к кому-нибудь из них, — предложил Дэвид, но идея не продержалась и пяти минут: ни один из этих домов не мог бы принять еще шестерых.

Гарриет плакала на кровати:

— Нет, пусть приедут, не отсылай их... ах, Дэвид, пожалуйста. По крайней мере, отвлекут меня от этого.

Дэвид сел на своей половине кровати, глядел на Гарриет тревожно, неодобрительно, но старался не подавать виду. По правде, Дэвид был бы рад избежать того, чтобы в доме три недели, месяц толкалась куча народу: это обходилось так дорого, а денег все время не хватало. Он

постоянно брал дополнительную работу, а теперь и дома оказался нянькой.

— Просто тебе нужно взять кого-нибудь в помощь. Попробуй возьми кого-нибудь из тех девиц.

Тут Гарриет взорвалась, возмущившись таким упреком:

— Это бессовестно! Не ты торчишь тут с ними — от них никакой пользы. Уверена, что ни одна из этих девиц в жизни и часу не работала.

— Они уже хоть чем-то помогали — если даже просто мыли посуду.

Дороти позвонила сказать, что и Саре, и Гарриет придется как-то управляться: ей, Дороти, нужна передышка. Она отправляется домой, в свою квартиру, пожить несколько недель в свое удовольствие. Гарриет плакала и едва могла говорить. Дороти не смогла добиться от нее, что случилось; она сказала: «Отлично, значит, придется приехать».

И вот Дороти сидела с Гарриет и Дэвидом за большим столом, с ними четверо детей, и сурово глядела на дочь. Не прошло и получаса после ее приезда, как она поняла, что ее дочь снова беременна. По ее решительному сердитому лицу они видели, что Дороти готовится сказать ужасные слова.

«Я ваша прислуга, в этом доме я выполняю работу прислуги», или: «Вы законченные эгоисты, оба. Вы безответственные». Эти слова висели в воздухе, но так и не прозвучали: все понимали, что если Дороти позволит себе начать, на этом она не остановится.

Она сидела во главе стола — на ближайшем к плите стуле, — мешала чай, одним глазом поглядывая на маленького Пола, который куксился на своем стульчике и хотел на ручки. Дороти тоже выглядела усталой, ее седые волосы были растрепаны: она шла в свою комнату, привести себя в порядок, когда на нее налетели с объятиями Люк, Хелен и Джейн, которые скучали по ней и знали, что раздражительность и нетерпимость, которые воцарились в доме, теперь будут под запретом.

— Вы знаете, что все собираются приехать к вам на Рождество? — сурово спросила Дороти, ни на кого не глядя.

— О да, да! — завопили Люк и Хелен, танцуя, припевая и скача по кухне. — О, да, когда они приедут? А Тони приедет? А Робин приедет? А Энн приедет?

— Сядьте, — сказал Дэвид холодно и резко, и они ответили ему удивленными обиженными взглядами и сели.

— Вы сумасшедшие, — сказала Дороти. Она покраснела от горячего чая и от всех тех слов, которые давила в себе.

— Конечно, пусть все приедут, — сказала Гарриет, всхлипывая, и выбежала из комнаты.

— Для нее это очень важно, — сказал Дэвид, как бы извиняясь.

— А для тебя нет?

Это было сказано язвительно.

— Дело вот в чем: я вижу, что Гарриет сама не своя, — сказал Дэвид и долгим взглядом посмотрел на Дороти, пытаясь заставить ее поднять глаза на него. Но та не поддалась.

— Что это значит, что мама сама не своя? — заинтересовался шестилетка Люк, уже готовый начать игру в слова. Или даже, пожалуй, в загадки. Но что-то его смущало. Дэвид протянул руку, и Люк подошел к отцу, встал рядом, заглянул в лицо.

— Ничего страшного, Люк, — сказал Дэвид.

— Вам нужно взять кого-то в помощь, — сказала Дороти.

— Мы пытались. — Дэвид рассказал про трех любезных и равнодушных девушек.

— Неудивительно. Кто в наши дни захочет честно делать работу? — сказала Дороти. — Но вам кто-то нужен. Могу сказать тебе, что не рассчитывала закончить свои дни вашей и Сариной рабыней.

Тут Хелен и Люк недоверчиво поглядели на бабушку и расплакались. Через миг Дороти взяла себя в руки и принялась их утешать.

— Все хорошо, хорошо, — говорила она. — Я сейчас пойду уложу Пола и Джейн. А вы, Люк и Хелен, можете улечься и сами. Я приду пожелать вам спокойной ночи. А потом бабуля и сама ляжет. Устала.

Подавленные дети побрели вверх.

Гарриет в тот вечер больше не спустилась к ним; и муж и мать понимали, что ей дурно. К такому они привыкли... но не привыкли к плохому настроению, слезам, капризам.

Когда дети улеглись, Дэвид переделал кое-какую взятую на дом работу, приготовил себе бутерброд, к нему присоединилась Дороти, которая спустилась заварить себе чаю. На этот раз они не стали выказывать друг другу недовольство: дружественное молчание объединяло их, как двух старых солдат, прошедших вместе через лишения и испытания.

Потом Дэвид поднялся в большую сумрачную спальню, где свет из окна соседнего дома, отстоящего на добрых тридцать ярдов, бросал на потолок блики и тени. Дэвид остановился, глядя на постель, где лежала Гарриет. Спит? Младенец Пол спал у нее под боком, распеленатый. Дэвид осторожно наклонился, обернул ребенка одеяльцем, отнес за дверь в кроватку. Он заметил, что глаза Гарриет блестели — она следила за ним.

Дэвид забрался в постель и, как всегда, вытянул руку, ожидая, что Гарриет положит голову ему на плечо и он ее обнимет.

Но она сказала:

— На, потрогай, — и положила его руку себе на живот.

Она была беременна почти три месяца.

До этого новый ребенок еще не подавал признаков независимой жизни, но теперь Дэвид почувствовал под ладонью толчок, довольно резкое движение.

— Может, у тебя дольше, чем думала?

Новый толчок — невероятно.

Гарриет опять заплакала, и Дэвид, сознавая, конечно, что это несправедливо, подумал: она нарушает правила, нарушает их молчаливый договор — слезы и страдания никогда не входили в их планы!

Гарриет почувствовала себя отвергнутой. Они с мужем всегда любили вот так лечь и слушать новую жизнь, радуясь ее движениям. Четыре раза Гарриет дожидалась этого первого трепета, часто ошибалась, но потом точно: ощущение было такое, будто рыбка выдохнула пузырек воздуха; слабые ответы на ее собственные движения, прикосновения и даже — она твердо верила — мысли.

А этим утром, лежа в темноте, пока не проснулись дети, Гарриет почувствовала в животе толчки, на которые нельзя было не обратить внимания. Не веря, она села на кровати и посмотрела на свой пока еще плоский, разве что чуть дрябловатый живот и почувствовала настойчивые удары, словно в маленький барабан. Целый день она старалась быть в движении, чтобы не слышать этих требований нового существа, не похожих ни на что в ее прошлом опыте.

— Ты бы сходила к доктору Бретту уточнить срок, — посоветовал Дэвид.

Гарриет ничего не ответила, понимая, что это бесполезно: она совсем растерялась.

Но к доктору Бретту пошла.

Тот сказал:

— Ну, может быть, я и промахнулся на месяц, но если так, то вы и правда были совсем беспечны, Гарриет.

Такой выговор Гарриет получала со всех сторон и теперь вспылила:

— Каждый может ошибиться.

Почувствовав рукой отчетливые движения в ее животе, доктор нахмурился и произнес:

— Ну, ведь в *этом* нет ничего такого уж плохого?

Казалось, он был в нерешительности. Доктор был изнуренный, немолодой уже человек, по слухам, несчастливый в браке. Гарриет всегда смотрела на него несколько свысока. А теперь она в его власти, лежит под его руками, заглядывая в профессионально непроницаемое лицо и ожидая, что он скажет еще. Что? Ждала от него *объяснений*.

— Относитесь к этому проще, — сказал доктор, отворачиваясь.

За его спиной Гарриет пробормотала:

— Сам относись проще, — и одернула себя: «Ах ты, *корова* злобная».

Всем, кто съезжался на Рождество, говорили, что Гарриет забеременела по ошибке, но теперь они довольны, это правда.

— Говорите за себя, — сказала, однако, Дороти.

Все больше прежнего старались помочь. Гарриет нельзя было готовить, делать домашние дела, нельзя ничего. Ее надо было обслуживать.

Услышав новость, каждый сначала смотрел оторопело, потом начинал шутить. Гарриет с Дэвидом входили в комнату, полную болтающей родни, и, поняв, что хозяйева здесь, все замолкали. Гости наперебой порицали их. Роль Дороти в поддержании хозяйства в этом доме получила всеобщее признание. Ограничения зарплаты Дэвида — не такой уж большой, в конце концов, — упоминались тоже. Звучали шутки о том, как, наверное,отреагирует на новость Джеймс. Потом начали поддразнивать. Их хвалили за плодовитость и шутили насчет влияния спальни. Они с легкостью отвечали на шутки. Но во всех этих кривляньях был какой-то дурной привкус, и на молодых Ловаттов смотрели уже не так, как прежде. Спокойная настойчивость и терпение, которые свели их вместе, которые вызвали к жизни этот дом и собрали в нем всех этих непохожих людей со всех концов Англии, да и всего мира: Джеймс ехал с Бермуд, Дебора из Штатов, и даже Джессика обещала ненадолго появиться, — эти качества, какими бы они ни были, эти жизненные требования, которые прежде воспринимались с уважением (неохотным или щедрым), теперь обнаруживали свою изнанку: в том, как бледная угрюмая Гарриет лежит пластом на кровати, потом спускается вниз с твердым намерением влиться в общество, но, не сумев, снова уходит к себе; в мрачном терпении Дороти, которая

работает от зари до зари, а нередко и ночью; и в капризах и жалобах детей — особенно маленького Пола, — постоянно требующих внимания.

Из деревни пришла новая девушка — ее подыскал доктор Бретт. Как и три предыдущие, милая, ленивая, не понимающая, что делать, пока ей прямо не укажут, уязвленная объемом работы, которой требуют четверо детей. Но при этом ей нравилось, когда люди сидят и беседуют, нравилась непринужденная атмосфера, и скоро она уже ела за общим столом и празднично сидела с гостями; ей казалось вполне нормальным, если кто-то из них ее обслуживал. Все понимали, что, как только милый домашний праздник закончится, она найдет повод уйти.

И праздник закончился — немного раньше, чем обычно. Не только Джессика (приехавшая в ярких летних одеждах, без всяких уступок английской зиме, кроме одного легкого вязаного жакета) вспомнила о разных других людях, которым тоже обещаны визиты. Упорхнула Джессика, с ней Дебора. Следом Джеймс. Фредерику надо было заканчивать книгу. Восторженная школьница Бриджит, увидев, как Гарриет лежит пластом, прижимая ладони к животу, и стонет от непонятной боли, а слезы текут по ее щекам, настолько поразились, что расплакалась — она всегда знала, что все это было слишком хорошо и не могло продолжаться долго, и с тем вернулась домой к матери, которая совсем недавно вторично вышла замуж и не особо обрадовалась дочери.

Деревенская девчонка сбежала, и Дэвид стал подыскивать в Лондоне опытную няню. Сам он бы не потянул этого, но Джеймс сказал, что будет платить. Пока Гарриет не станет лучше — так он сказал: непривычно ворчливо, давая понять, что, по его мнению, если Гарриет сама выбрала такую жизнь, не стоит ждать, что кто-то будет оплачивать все ее счета.

Но няню они не нашли: все няни хотели или ехать за границу в семью с одним ребенком, пусть двумя; или оставаться в Лондоне. Маленький городок и четверо детей плюс ожидаемый пятый отпугивали их.

Вместо этого помогать Дороти приехала кузина Фредерика по имени Элис — вдова, придавленная несчастьями. Элис была шустрая, суетливая и нервная, как маленький седой терьер. У нее было трое

взрослых детей и внуки, но она объяснила, что не хочет быть им обузой, и Дороти отпускала по этому поводу колючие реплики, которые Гарриет воспринимала как обвинения в свой адрес. Дороти не радовалась перспектива делить влияние с другой женщиной ее возраста, но тут уж ничего не поделаешь. Они видели, что Гарриет ни за что не может как следует взяться.

Та снова побывала у доктора Бретта, потому что не могла ни заснуть, ни расслабиться из-за активности плода, который как будто старался разорвать ей живот и выбраться на свет.

— Только посмотрите на это, — сказала Гарриет; живот у нее вспучился, заволновался и опал. — *Пять* месяцев.

Доктор провел обычный осмотр и сказал:

— Плод великоват для пяти месяцев, но в пределах нормы.

— У вас когда-нибудь были подобные случаи?

Вопрос Гарриет прозвучал резко и повелительно, и доктор взглянул на нее с тревогой.

— Определенно, я видел энергичных младенцев, — ответил он сухо, но Гарриет настаивала:

— На пятом месяце? Вот таких? — И он ушел от ответа — извернулся, как это восприняла Гарриет.

— Я дам вам успокоительное, — сказал он.

Для нее. Но сама Гарриет хотела этим хоть как-то успокоить ребенка.

Теперь, не решаясь обратиться к доктору Бретту, она выпрашивала транквилизаторы у друзей и сестер. Дэвиду она не говорила, сколько пьет таблеток, и это было впервые, когда она что-то скрывала от мужа. Примерно час после приема зародыш вел себя тихо, Гарриет получала отдых от непрерывных ударов и толчков. Они были такими яростными, что Гарриет кричала от боли. По ночам Дэвид слышал, как она стонет или хнычет, но больше не вызывался утешать, потому что теперь его объятия, казалось, не приносили Гарриет никакого облегчения.

— *Господи!* — восклицала она, или мычала, или стонала в голос, потом вдруг садилась или вскакивала с постели и бросалась вон из комнаты, скрючившись, убегая от своей боли.

Дэвид больше не клал ей ладонь на живот, как прежде, по-дружески, потому что не мог справиться с тем, что он там чувствовал. Просто невозможно, чтобы это крошечное существо выказывало такую пугающую мощь, но это было так. И что бы ни говорил Дэвид, его слова не доходили до Гарриет, которая, казалось, была не в себе: отдалилась от него в своей битве с плодом, в которой Дэвид ничем не мог ее поддержать.

Он просыпался и видел, как Гарриет в темноте меряет комнату шагами час за часом. Наконец она ложилась, затихала, но тут же, вскрикнув, поднималась и, зная, что муж не спит, спускалась в большую комнату, где можно было вышагивать туда-сюда, стонать, браниться и плакать без свидетелей.

Приближались пасхальные каникулы, и, когда Дороти и Элис заговорили о подготовке дома, Гарриет сказала:

— Никого не будет. Тут никого не будет.

— Но все собираются, — сказала Дороти.

— Мы справимся, — сказала Элис.

— Нет, — сказала Гарриет.

Вопли и протесты детей не смягчили Гарриет. К еще большему неудовольствию Дороти. Ведь здесь она и Элис — две умелые работницы, которые делают все, что надо, а от Гарриет требовалась самая малость...

— Ты точно не хочешь гостей? — спросил Дэвид, которого дети умоляли переубедить мать.

— Ах, поступайте, как хотите, — ответила Гарриет.

Но когда пришла Пасха, Гарриет оказалась права: получилось неудачно. Когда она напряженно-прямо сидела за столом, собираясь с силами

перед новым ударом или тычком, ее натянутое, отсутствующее лицо пресекало разговоры, омрачало веселье, убивало настроение.

— Кто там у тебя? — спрашивал Уильям дурашливо, однако настороженно. — Борец?

— Одному богу ведомо, — отвечала Гарриет: с болью, не шутя. — Как я смогу дожить до июля? — спрашивала она тихим напуганным голосом. — Я не доживу! Я просто не вытерплю!

Все кругом — и Дэвид — считали, что Гарриет просто слишком измучена, оттого что этот ребенок так быстро развивается. Ее нужно баловать. Одинокая в своем страдании — она знала, это так надо, и не винила родных в том, что они не признают того, что постепенно пришлось осознать ей, — Гарриет сделалась молчаливой, мрачной, подозрительной ко всем и к их мнению о ней. Единственное, что помогало, — движение.

Когда доза успокоительного на час умирала врага — так она теперь думала о свирепом существе в своем чреве, — Гарриет выжимала из этого часа все, что можно: спала, сгребая сон охапками, цеплялась за него, пила его, пока не выпрыгнет из кровати, проснувшись от спазма или толчка, которые сразу вызывали тошноту. Она прибиралась на кухне, в гостиной, на лестнице, мыла окна, протирала шкафы, ее тело изо всех сил отвергало боль. Она настояла, чтобы Дороти и Элис позволили ей работать, и, когда они говорили, что нет нужды по-новой скоблить кухню, Гарриет отвечала:

— Для кухни нет, а для меня есть.

До завтрака она успевала поработать три-четыре часа и выглядела очумелой. Она отвозила Дэвида на станцию и двух старших детей в школу, потом где-нибудь оставляла машину и пускалась бродить. Почти бежала по улицам, едва замечая, что творится вокруг, час за часом, пока не осознавала, что люди на нее смотрят. Тогда она недалеко отъезжала от города и там шагала по дорожкам и тропам, быстро, время от времени переходя на бег. Люди в проезжающих машинах удивленно оглядывались на бегущую одержимую женщину, бледную, с открытым ртом и развевающимися волосами, запыхавшуюся, сцепившую руки на груди. Если останавливались предложить помощь, она качала головой и спешила дальше.

Время шло. Оно проходило, хотя у Гарриет теперь был свой отсчет, не такой, как у людей вокруг, но и не тот, что бывает у беременных, когда время течет медленно, а свой календарь роста спрятавшегося в ней существа. Время

Гарриет равнялось терпению, оно состояло из боли. Ее мозг населили призраки и химеры. Она думала: «Когда ученые ставят опыты, скрещивая разные виды животных, тогда, наверное, бедные матери чувствуют себя так же». И воображала несчастных жалких ублюдков, ужасающе реальных для нее: помесь дога или борзой с маленьким спаниелем; льва и собаки; огромной лошади-тяжеловоза и ослика; тигра и козы. Иногда ей казалось, что ее нежную плоть изнутри терзают копыта, а иногда — когти.

Вечером она забирала детей из школы, потом встречала Дэвида на станции. Пока ели ужин, она бродила по кухне, а отправив детей смотреть телевизор, поднималась на третий этаж, где вышагивала взад-вперед по коридору.

Домашние слышали ее тяжелые поспешные шаги наверху и старались не смотреть друг на друга.

Время шло. Оно проходило. Седьмой месяц был легче — благодаря тому количеству транквилизаторов, которое она выпивала. Страшась того расстояния, которое возникло между нею и мужем, между нею и детьми, матерью, Элис, Гарриет каждый день ставила себе только одну задачу: казаться нормальной в часы между четырьмя, когда заканчивались уроки у Хелен и Люка, и восемью-девятью, когда дети ложились спать. Транквилизаторы как будто не очень действовали на Гарриет: ей хотелось, чтобы они, не трогая ее самое, доставались ребенку, плоду — существу, которое срослось с ней в борьбе за выживание. И в эти часы оно оставалось спокойным, а если подавало признаки пробуждения и готовилось продолжить бой, Гарриет глотала еще дозу.

А всем так не терпелось принять ее обратно в семью: нормальную, обычную Гарриет; дома не замечали ее напряженности и измождения — потому что она сама так хотела.

Дэвид обнимал ее и спрашивал:

— Как ты, Гарриет, ничего?

Еще два месяца.

— Да-да, ничего. Правда.

А существу, скорчившемуся в ее утробе, она мысленно говорила: «А ты затихни, не то я приму еще таблетку». Ей казалось, что оно слушает и понимает ее.

Сцена на кухне: семейный ужин. Гарриет и Дэвид сидят по разным концам стола. Люк и Хелен рядом с одной стороны. Элис держит маленького Пола, которому вечно не хватает объятий и ласк: он так мало получает их от матери.

Джейн сидит подле стула Дороти, стоящей у плиты с половником в руке. Гарриет смотрит на мать, крупную здоровую женщину на шестом десятке, с копной стальных седых волос, свежим розовым лицом и большими глазами, синими, «как леденцы» — семейная шутка, — и думает: «Я такая же сильная, как она. Я выдержу». И улыбается Элис — худой, жилистой, сильной и энергичной — и думает опять: «Эти старухи, погляди на них, они вынесут все».

Дороти наливает в тарелки овощной суп. Не спеша садится со своей. По кругу передают хлеб, большую корзину хлеба.

Счастье вернулось и сейчас сидит с ними за столом — и невидимая рука Гарриет под столешницей сдерживает врага: «Ты — тихо».

— Сказку, — говорит Люк. — Сказку, пап.

Если назавтра надо было в школу, дети ужинали рано и отправлялись спать. Но по пятницам и субботам они ели со взрослыми и за ужином им рассказывали сказки.

Здесь, в стенах гостеприимной кухни, тепло и витает густой запах супа. А снаружи ненастный вечер. Май. Шторы не задернуты. За окном протянулась ветка: весенняя, в первом цвету, бледная в сумерках, но ветер, который бьет в стекла, несет на юг холод айсберга или заснеженного поля. Гарриет мешает ложкой суп и крошит в тарелку кусок хлеба. У нее зверский, ненасытный аппетит — такой сильный, что она стыдится себя и совершает набеги на холодильник, когда ее никто не видит. Она прерывает свои ночные блуждания, чтобы запихать в себя все, что найдет съестного. Она даже делает тайники вроде заначек алкоголика, только у нее это еда: шоколад, хлеб, пироги.

Дэвид начал:

— Однажды дети, мальчик и девочка, отправились в лес на поиски приключений. Они зашли далеко. Был жаркий день, но под кронами деревьев стояла прохлада. Они увидели оленя, он лежал и отдыхал. Птицы порхали вокруг и пели для них.

Дэвид перестал есть суп. Хелен и Люк сидели неподвижно, не сводя глаз с его лица. Джейн слушала тоже, но иначе. Четырехлетняя, она

смотрела, как принимают рассказ Хелен и Люк, и, копируя их, тоже уставилась теперь на отца.

— Разве птицы поют для нас? — спросил Люк с сомнением, морща лоб. У него решительное суровое лицо, и он, как всегда, требует правды. — Когда мы в саду и там поют птицы, разве они поют для нас?

— Конечно, нет, глупый, — сказала Хелен. — Это был волшебный лес.

— Конечно, они поют для тебя, — твердо сказала Дороти.

Дети, утолив первый голод, сидят с ложками в руках и большими глазами смотрят на отца. У Гарриет тяжело на сердце: они такие доверчивые, такие беспомощные. Телевизор включен: профессионально невозмутимый голос рассказывает об убийствах в лондонском пригороде. Гарриет, тяжело ступая, идет выключить его, бредет на место, наливает себе еще супа, щедро крошит хлеб... Она слушает голос Дэвида, нынче вечером это голос сказочника, который так часто звучит на этой кухне: то из уст Гарриет, то Дороти...

— Когда дети захотели есть, они нашли куст, на котором росли шоколадные конфеты. Потом они нашли озерцо, наполненное апельсиновым соком. Детей потянуло в сон. Они легли под кустом рядом с добрым оленем. Когда проснулись, они сказали спасибо оленю и пошли дальше...

И вдруг девочка увидела, что она одна. Она потерялась. Девочке захотелось домой. Она не знала, в какую сторону идти. Она огляделась — нет ли рядом доброго оленя, или воробья, или другой птички, которая скажет, где она находится, и покажет, какой дорогой выбираться из лесу. Девочка долго блуждала по лесу, и ей опять захотелось пить. Она наклонилась над озерцом, думая, не апельсиновый ли в нем сок, но там была вода, чистая прозрачная лесная вода, у нее был вкус растений и камней. Девочка попила из горсти.

Тут двое старших детей потянулись к своим стаканам и отпили из них. Джейн сплела пальцы, складывая их ковшиком.

— Она сидела там у озера. Уже темнело. Она наклонилась к воде посмотреть, нет ли там рыбки, которая подскажет дорогу из лесу, но

увидела нечто неожиданное. Это было лицо девочки, и оно смотрело прямо на нее. Такого лица она никогда раньше не видела. Чужая девочка улыбалась, но это была злая улыбка, не дружеская, и наша маленькая девочка подумала, что эта другая девочка вытянет руки из-под воды и утащит ее в озеро...

Глубокий возмущенный вздох Дороти — она находит, что на ночь это слишком страшно.

Но дети застыли, им интересно. На маленького Пола, захныкавшего на руках у Элис, Хелен шикает:

— Тише ты, *закрой рот*.

— Филлис — так звали маленькую девочку — никогда раньше не видела таких страшных глаз.

— Это Филлис из моего садика? — спросила Джейн.

— Нет, — ответил Люк.

— Нет, — ответила Хелен.

Дэвид остановился. Видимо, в ожидании вдохновения. Нахмурился, принял сосредоточенный вид, будто у него разболелась голова. Что до Гарриет, то ей хотелось закричать: «Перестань, хватит! Ты говоришь обо мне — это то, какой ты меня видишь!» Она не могла поверить, что Дэвид не понимает этого сам.

— И что было потом? — спросил Люк. — Что там было дальше?

— Погодите, — сказал Дэвид. — Погодите, у меня суп...

Дэвид принялся есть.

— Я знаю, как было, — твердо сказала Дороти. — Филлис решила сейчас же уйти от этого гадкого озера. Она быстро побежала по тропинке и скоро столкнулась с братом. Он ее искал. Они взялись за руки, побежали из лесу и благополучно добежали до дома.

— Так оно и было, точно, — сказал Дэвид. Он виновато улыбался и выглядел смущенным.

— Правда-правда, так и закончилось, пап? — спросил Люк, тревожась.

— Конечно, — сказал Дэвид.

— Что за девочка была в озере, кто это? — спросила Хелен, переводя взгляд с отца на мать.

— А, так, просто какая-то волшебная девочка, — ответил Дэвид. — Понятия не имею. Она просто материализовалась.

— Что значит «материализовалась»? — переспросил Люк, с трудом выговаривая новое слово.

— Пора спать, — сказала Дороти.

— Но что значит «материализовалась»? — не унимался Люк.

— Пудинга не будет! — возмутилась Джейн.

— Пудинга нет, есть фрукты, — сказала Дороти.

— Что значит «материализовалась», пап? — волнуясь, настаивал Люк.

— Это когда что-нибудь, чего не было, вдруг появляется.

— Но отчего, отчего появляется? — захныкала огорченная Хелен.

— Дети, наверх, — скомандовала Дороти.

Хелен взяла яблоко, Люк тоже, а Джейн, с быстрой, озорной, хитрой улыбкой, — кусок хлеба у матери с тарелки. Ее не расстроила эта сказка.

Трое детей шумно поднялись по лестнице, а маленький Пол, покинутый, смотрел им вслед и надувал губы, собираясь заплакать.

Элис проворно поднялась, взяла Пола и понесла следом за старшими, говоря:

— Когда я была маленькая, мне никто не рассказывал сказок! — И было непонятно, жалоба это или «оно и к лучшему».

Вдруг Люк показался на площадке.

— А на летние каникулы все приедут?

Дэвид беспокойно взглянул на Гарриет — и отвернулся. Дороти жестко посмотрела на дочь.

— Да, — ответила Гарриет слабым голосом. — Конечно.

Люк крикнул вверх:

— Она сказала «конечно»!

Дороти сказала:

— Ты только-только родишь этого ребенка.

— Решайте вы с Элис, — сказала Гарриет. — Если чувствуете, что не справитесь, скажите.

— Я чувствую, что справлюсь, — сказала Дороти сухо.

— Да, я знаю, — быстро подхватил Дэвид. — Вы — чудо.

— И вы не знаете, что делали бы...

— Не надо, — сказал Дэвид. Потом обратился к Гарриет: — Куда лучше бы все отложить и позвать всех на Рождество.

— Дети ужасно расстроятся, — сказала Гарриет.

Но в ее голосе не слышалось прежней настойчивости: он был ровным и безразличным. Муж и мать с любопытством поглядели на нее — Гарриет расценила их взгляды как холодные, недобрые. Она сказала мрачно:

— Ну, может, этот ребенок родится до срока. Так должно быть. — Горько рассмеялась, потом внезапно поднялась, вскрикнула: — Мне надо двигаться, надо двигаться, — и начала свой нескончаемый мучительный марш: час за часом вперед-назад и вверх-вниз.

Гарриет пришла к доктору Бретту после восьми месяцев и попросила стимулировать роды. Доктор посмотрел на нее укоризненно и сказал:

— Я думал, вы этого не одобряете.

— Не одобряю. Но сейчас особый случай.

— Такой уж особый?

— Вы не хотите понять. Ведь это не вы носите этого... — Гарриет проглотила «монстра», опасаясь вызвать неприязнь доктора. — Послушайте. — Она старалась говорить спокойно, но тон вышел сердитым и обвинительным. — Разве я была когда-нибудь неблагоприятной? Истеричной? Сварливой? Ну — просто жеманная истеричка, да?

— Я бы сказал, что вы просто измождены. Устали до предела. Носить ребенка вам никогда не было легко, так ведь? Разве вы забыли? В каждую из четырех беременностей вы сидели здесь с самыми разными проблемами — к вашей чести, вы со всем прекрасно справлялись.

— Но сейчас не то же самое, сейчас *абсолютно* иначе, не понимаю, почему вы этого не видите. Вот, посмотрите?

Гарриет выпятила живот, который пучился и — как она чувствовала — бурлил перед глазами доктора.

Доктор Бретт взглянул недоверчиво и выписал ей еще успокоительных.

Нет, он не видел. А вернее, не хотел видеть — в том и было дело. И не только он, но все вокруг, никто *не хотел* замечать, насколько иначе все было в этот раз.

И, бродя, вышагивая, бегая по пригородным улицам, Гарриет воображала, как берет большой кухонный нож, разрезает себе живот и вынимает ребенка, и тогда они наконец посмотрят друг на друга после этого долгого сражения вслепую — и что предстанет перед ее глазами?

Скоро, почти на месяц раньше срока, начались схватки. После этого момента роды всегда проходили быстро. Дороти позвонила Дэвиду в Лондон и тут же отвезла Гарриет в больницу. Впервые, к общему удивлению, та настояла на родах в больнице.

Когда приехали в больницу, Гарриет уже скручивали жестокие боли — сильнее, она это знала, чем все прошлые роды. Ребенок, казалось, вырывался на свет с боем. Гарриет была вся в синяках — она знала; не

иначе ее нутро — один огромный черный синяк... только никто никогда об этом не узнает.

И вот настал миг, когда можно было впасть в забытие, и Гарриет закричала:

— Слава богу! Слава богу, все позади!

Она услышала, как медсестра говорит:

— Вот это вправду крепыш, глядите-ка.

Потом женский голос:

— Миссис Ловатт, миссис Ловатт, вы с нами? Возвращайтесь к нам. Здесь ваш муж, милочка. У вас родился здоровый мальчик.

— И вправду маленький борец, — сказал доктор Бретт. — Едва из утробы, уже в драку с целым миром.

Гарриет с трудом приподнялась, нижняя часть тела слишком болела. Ребенка положили ей на руки. Одиннадцать фунтов весу. Другие были не тяжелее семи. Мускулистый, длинный, желтоватый. Он будто пытался встать на ноги, упираясь пятками Гарриет в бок.

— Смешной мужичок, — сказал Дэвид, но с беспокойством.

Новорожденный не был прелестным младенцем. Он вообще не был похож на младенца. Тяжелые плечи, вид сутулый, будто он лежал, сгорбившись. Лоб заваливался от глаз к макушке. Волосы росли странным узором: спускаясь низко на лоб клином или треугольником, густая желтоватая щетина торчала вперед, а по бокам и на затылке — вниз. Руки были толстые и тяжелые, с буграми мышц на ладонях. Он открыл глаза и посмотрел прямо в лицо матери. Сосредоточенные зеленовато-желтые глаза, похожие на два куса мыльного камня. Гарриет так долго ждала случая посмотреть в глаза существу, которое, несомненно, хотело причинить ей вред, но никакого узнавания не было. Сердце у нее защемило от жалости: бедный маленький звереныш, собственная мать так сильно невзлюбила его... Но тут Гарриет услышала свой голос — взволнованный, хотя она старалась рассмеяться:

— Он похож на тролля или на гоблина, или кого-то такого.

И она прижала ребенка к себе, чтобы приласкать. Но он был неподатлив и угрюм.

— Ну же, Гарриет, — сказал доктор Бретт, досадуя на нее.

И она подумала: я проходила это с чертовым доктором Бреттом четыре раза, и он всегда был молодчиной, а теперь как школьный учитель.

Она вынула грудь и предложила ребенку сосок. Сестры, врач, ее мать и муж стояли и смотрели с подобающими моменту улыбками. Но не было никакого ощущения праздника или свершения, никакого шампанского; наоборот, все чувствовали напряжение, настороженность. Сильный сосательный рефлекс, и вдруг твердые десны сомкнулись на ее соске, и Гарриет поморщилась. Ребенок посмотрел на нее и укусил еще, крепко.

— *Ладно*, — сказала Гарриет, пробуя смеяться и отнимая дитя от груди.

— Дайте ему еще немножко, — сказала медсестра.

Ребенок не плакал. Гарриет подняла его, взглядом вызывая сестру принять. Сестра, неодобрительно поджав губы, взяла ребенка и положила в кроватку; он не возмущался. Он ни разу не плакал с момента рождения, если не считать первого возмущенного или, может, удивленного вопля.

Четверо младших Ловаттов пришли в палату посмотреть на нового братца. Две мамы, с которыми Гарриет делила палату, встали с постелей и понесли своих младенцев в комнату отдыха. Гарриет отказалась встать. Врачам и сестрам она сказала, что потребуется время, чтобы ее внутренние синяки зажили; она сказала это почти с вызовом, небрежно, не реагируя на их укоризненные взгляды.

Дэвид стоял в ногах кровати с маленьким Полом на руках. Гарриет тосковала по этому ребенку, малышу, с которым ей пришлось разлучиться так скоро. Она любила даже то, как он выглядел: забавное нежное личико с большими ласковыми синими глазами — как колокольчики, думала она, — и его мягкие маленькие ручки и ножки...

Она представляла, как скользит по ним ладонями и потом прячет в горстях маленькие ступни. Настоящий младенец, настоящее дитя...

Трое старших детей разглядывали новорожденного, который был так не похож ни на кого из них: сделан из другого вещества, подумала Гарриет. Подумала отчасти потому, что вид новорожденного все еще вызывал у нее воспоминания о том, каким странным он был в утробе, а отчасти из-за его сходства с массивной желтоватой глыбой. Да еще эта его странная голова, скошенная от надбровных дуг.

— Мы назовем его Бен, — сказала Гарриет.

— Правда? — сказал Дэвид.

— Да, ему подойдет.

Люк с одной стороны, Хелен с другой взяли Бена за ручки и сказали:

— Привет, Бен... Привет, Бен. — Но ребенок не взглянул на них.

Четырехлетняя Джейн взяла его за ступню, потом взяла ее обеими ручками, но младенец решительным пинком отбросил ее руки.

Гарриет поняла, что спрашивает себя, какой должна быть его мать, чтобы обрадоваться этому чудищу.

Гарриет пролежала в постели неделю — она не вставала, пока не почувствовала, что снова может бороться, — и тогда вернулась с новорожденным домой.

В первый же вечер в супружеской спальне Гарриет сидела, опираясь на гору подушек, и кормила ребенка. Дэвид смотрел.

Бен сосал так жадно, что опустошил первую грудь меньше чем за минуту. Если молоко в груди заканчивалось, Бен всегда сжимал челюсти, и Гарриет нужно было успеть отнять его. Выглядело так, будто она немилостиво лишала его груди, и сейчас Гарриет слышала, как дыхание Дэвида изменилось. Бен гневно заревел и присосался, как пиявка, к другому соску, и сосал так свирепо, что Гарриет казалось, будто вся ее грудь исчезает в этой глотке. На сей раз она оставила его у

груди, пока он не стиснул челюсти, и только тогда, закричав, оторвала от соска.

— А он необычный, — сказал Дэвид, ободряя жену.

— Да, он *такой*, совершенно *не* обычный.

— Но он нормальный, он просто...

— «Нормальный здоровый отличный ребенок», — сказала Гарриет едко, цитируя медиков из роддома.

Дэвид молчал: эта злость и эта горечь в Гарриет — он не знал, чем их объяснить.

Она подняла Бена повыше в воздух. Тот сопротивлялся, извивался, бился и орал на свой особый лад — не то ревел, не то мычал и при этом становился от гнева желтым, а не красным, как нормальный ребенок, когда сердится.

Если Гарриет поднимала Бена, чтобы срыгнул, он, казалось, вставал в ее руках, и Гарриет слабела от страха при мысли о том, что еще так недавно эта мощь сидела у нее внутри и угрожала ей. Месяцами он боролся, чтобы выбраться наружу, точно так же он бился сейчас в ее руках, требуя самостоятельности.

Гарриет опустила его в кроватку — она всегда делала это с радостью, потому что руки ужасно уставали, — и Бен взревел в гнев, но скоро стих и лежал, не засыпая, совершенно бодрый, глаза внимательные, то расслабляясь, то выгибая тело сильными толчками пяток и головы, с которыми Гарриет была хорошо знакома: именно из-за них ей казалось, что ее разрывают на части, когда Бен еще был в утробе.

Она вернулась в кровать, легла рядом с мужем. Он вытянул руку, чтобы Гарриет легла на нее, поближе, но Гарриет чувствовала себя предательницей и лгуньей, потому что Дэвиду не понравилось бы то, что она сейчас думает.

Скоро кормления изнурили ее. И не то чтобы Бен не рос — он рос. В месяц он набрал уже два фунта весу — если бы он родился в срок, теперь ему не было бы и недели.

Грудь у нее болела. Производя молока больше, чем когда-либо раньше, они разбухали в два лопающихся белых шара задолго до того, как придет время следующего кормления. Но Бен уже орал, требуя, и она кормила его, и он выпивал все до капли, в две или три минуты. Гарриет чувствовала, что молоко тянется из нее потоками. Теперь Бен затеял кое-что новое: он стал по несколько раз прерывать ожесточенное сосание, чтобы сомкнуть челюсти, словно бы резко перемалывая сосок, и Гарриет кричала от боли. Его маленькие холодные глазки казались ей злорадными.

— Я переведу его на бутылочку, — сказала она Дороти, которая наблюдала за сражением с тем же видом, какой Гарриет замечала у всякого, кто смотрел на Бена. Дороти смотрела совершенно неподвижно и сосредоточенно, зачарованно, как под гипнозом, но с отвращением. И страхом?

Гарриет думала, что мать возразит: «Ему только пять недель от роду!» — но ответ Дороти был:

— Так и надо, иначе ты заболеешь. — Немного позже, глядя, как Бен ревет, выгибается и отбивается, Дороти заметила: — Скоро все съедутся на лето.

Она говорила в непривычной манере, будто прислушивалась к себе, боясь сказать лишнее. Гарриет узнала эту манеру, потому что сама теперь ощущала себя так же, о чем бы ни говорила. Так говорят люди, чьи мысли движутся тайными путями, о которых другие не должны знать.

В тот же день Дороти вошла в спальню, где Гарриет кормила Бена, когда та отнимала ребенка от груди, и увидела, что вокруг сосков у нее синяки. Дороти сказала:

— Пора. Хватит. Я купила бутылочки и молоко. Сейчас стерилизую.

— Да, отнимем его. — Дэвид согласился, не задумываясь.

Но первых четверых она кормила по четыре месяца, и тогда в доме вряд ли нашлась бы хоть одна бутылочка.

Взрослые — Гарриет с Дэвидом, Дороти и Элис — сидели вокруг большого стола, дети ушли спать, и Гарриет попробовала кормить Бена из бутылочки. Он выпил все в один миг, пока его тело сжималось и разжималось: колени подтягивались к животу, а потом пружиной распрямлялись. Опустошив посудину, он взревел.

— Дадим ему еще, — сказала Дороти и стала готовить новую порцию.

— Какой аппетит, — сказала Элис, на совесть стараясь поддержать компанию, но выглядела испуганной.

Бен опорожнил вторую бутылку: он придерживал ее сам, двумя кулаками. Гарриет почти не нужно было дотрагиваться до нее.

— Неандертальский ребенок, — сказала Гарриет.

— Давай, мужичок, давай, бедняга, — сказал Дэвид неуверенно.

— Господи, Дэвид, — сказала Гарриет, — бедняга здесь скорее Гарриет.

— Согласен, согласен — гены в этот раз сложились во что-то особенное.

— Но во что, вот вопрос, — сказала Гарриет. — *Кто* он?

Остальные трое не сказали ничего — или, вернее, своим молчанием дали понять, что не хотели бы углубляться в этот вопрос.

— Ладно, — произнесла Гарриет, — давайте просто скажем, что у него здоровый аппетит, если от этого все будут счастливы.

Дороти взяла отбивающегося младенца из рук Гарриет, и та в изнеможении рухнула обратно на стул. Почуяв грубую массу Бена и его неукротимый норов, Дороти изменилась в лице и передвинулась так, чтобы его молотящие по воздуху ноги не могли ее задеть.

Скоро Бен стал съедать вдвое больше, чем предполагали его возраст и стадия развития: десять бутылочек в день или больше.

Он подхватил кишечную инфекцию, и Гарриет понесла его к доктору Бретту.

— Ребенок на грудном вскармливании не мог подхватить инфекцию, — сказал доктор.

— Я не кормлю его грудью.

— Это не похоже на вас, Гарриет. Сколько ему?

— Два месяца, — ответила Гарриет.

Она распахнула платье и показала свои груди, в которых еще копилось молоко, словно они отзывались на Бенов ненасытный аппетит. Вокруг сосков они все были дочерна искусаны.

Доктор Бретт молча смотрел на ее бедные груди, а Гарриет смотрела на его сдержанное внимательное лицо: доктор столкнулся с проблемой, которая оказалась ему не по силам.

— Плохой мальчик, — признал он, и Гарриет громко рассмеялась от удивления.

Доктор Бретт покраснел, на миг встретился с Гарриет глазами, принимая ее упрек, и отвел взгляд.

— Мне нужен только рецепт от диареи, — сказала Гарриет. И добавила нарочно, глядя на доктора, вызывая его посмотреть ей в глаза: — В конце концов, я не собираюсь убивать маленького изверга.

Доктор вздохнул, снял очки и осторожно протер линзы. Он хмурился, но не укоризненно. Затем сказал:

— Нет ничего ненормального в том, что мать не любит ребенка. Я все время такое вижу. К сожалению.

Гарриет промолчала, но улыбалась нехорошо и понимала это.

— Позвольте мне на него посмотреть.

Гарриет вынула Бена из коляски и положила на смотровой стол. Он тут же перевернулся на живот и стал пробовать подняться на четвереньки. Рухнул, но на какой-то миг устоял.

Гарриет пристально смотрела на доктора Бретта, но тот отвернулся выписать рецепт.

— Никаких особых отклонений у него не заметно, — сказал доктор с той раздражительной недоуменной интонацией, которую Бен всегда вызывал в людях.

— Вы когда-нибудь видели, чтобы ребенок в два месяца так мог? — нажала Гарриет.

— Нет. Должен признать, не видел. Ладно, держите меня в курсе, как он развивается.

Среди родни разлетелось известие, что Гарриет благополучно разродилась и все хорошо. В том числе с нею. Множество людей звонили и писали, сообщая, что они ждут не дождутся летних каникул. Ей говорили:

— Нам не терпится посмотреть на маленького.

Или говорили:

— А Пол все такой же милашка?

И приезжали со всех концов страны, привозя с собой вино и плоды земли, и самые разные люди стояли на кухне рядом с Элис и Дороти, разливая по банкам варенья, компоты, джемы и чатни. Орава детей играла в саду или ездил со взрослыми на лесные пикники. Малютка Пол, такой славный и забавный, все время был у кого-нибудь на руках, и всюду раздавался его смех: это был его настоящий характер, не омраченный тенью Бена и его потребностей.

Поскольку дом был полон народу, старшие дети спали в одной комнате. Бен уже обретался в кроватке с высокими решетчатыми деревянными бортами — там он проводил время, пробуя удержаться в сидячем положении, падая, пробуя снова... Кроватку поставили в одну комнату со старшими детьми — в надежде, что общество сестер и братьев сделает Бена общительным и дружелюбным. Но безрезультатно. Он их не замечал, не отвечал на заигрывания, а его плач — или, вернее, рев — вынуждал Люка кричать на него: «Заткнись!», после чего Люк сам начинал плакать от собственной черствости. Хелен, будучи в том

самом возрасте, когда дети увлеченно возятся с младенцами, пыталась брать Бена на руки, но он был слишком силен. Потом всех детей переселили на чердак, где им можно было шуметь сколько вздумается, а Бена обратно в его комнату — «комнату малыша», и оттуда до Гарриет доносились урчание, сопение и недовольный рев: Бен пробовал силы и огорчился неудачам.

Разумеется, каждому, кто просил, ребенка давали поддержать, и мучительно было видеть, как люди меняются в лице, столкнувшись с этим феноменом. Все быстро возвращали Бена назад. Раз Гарриет, войдя на кухню, услышала, как ее сестра Сара говорит кузине:

— От этого Бена у меня мурашки по коже бегут. Он какой-то гоблин или гном, или еще кто. Как хотите, а уж лучше бедняжка Эми.

Тут Гарриет охватило раскаяние: бедный Бен, он никому не может понравиться. Уж ей-то точно. И Дэвид, любящий отец, едва ли дотрагивался до этого младенца. Гарриет вынула Бена из кроватки, так похожей на клетку, положила на большую кровать и села рядом.

— Бедный Бен, бедный Бен, — приговаривала она и гладила его. Он ухватился двумя руками за ее рубашку и встал ногами на ее бедро. Маленькие твердые ступни больно давили. Гарриет пробовала обнять его, заставить смягчиться к ней... Скоро она сдалась и положила его обратно в его ясли, или, может, клетку... Раздался огорченный рев, Бен не хотел лежать. Гарриет протянула ему руки: — Бедный Бен, миленький Бен. — И он ухватился, подтянулся и встал на ноги с триумфальным урчанием и ревом. Четырехмесячный... Он походил на маленького, рассерженного, злого тролля.

Гарриет взяла за правило каждый день, когда не мешали другие дети, приходить к Бену, брать его к себе на большую кровать, чтобы приласкать и поиграть, как она делала раньше со всеми. Никогда, ни разу он не поддавался нежности. Он сопротивлялся, упирался, дрался, а однажды сомкнул челюсти на ее большом пальце. Это не был обычный для ребенка укус во время кормления — действие, облегчающее боль от режущихся зубов или помогающее понять возможности рта и языка: Гарриет почувствовала, как прогнулась кость, и увидела холодную торжествующую усмешку Бена.

Гарриет услышала свой голос:

— Ты меня не одолеешь, я тебе не позволю.

Но еще какое-то время она пыталась сделать его обычным ребенком. Она выносила его в большую гостиную, где собиралась вся родня, и оставляла там в манеже — пока его присутствие не начнет действовать на людей и они не станут постепенно расползаться. Или брала его на руки, садясь за стол, как делала с другими, — но Бен был так силен, что ей было его не удержать.

Несмотря на Бена, летние каникулы проходили чудесно. Опять было два месяца отдыха. Опять отец Дэвида, ненадолго залетев, оставил чек, без которого они не смогли бы обойтись.

— К вам попадешь — будто оказался в самой середке здоровущего фруктового пудинга, — сказал Джеймс. — Бог весть, как вам это все удастся.

Но потом, когда Гарриет думала об этих каникулах, она вспоминала, как все смотрели на Бена. Сначала долгим внимательным взглядом, озадаченным и даже тревожным, а потом с испугом, хотя каждый старался не подать виду. Сквозил и ужас: именно ужас чувствовала Гарриет, все больше и больше. Бен как будто не огорчался, даже не замечал. Трудно было понять, что он думает о людях.

Однажды вечером Гарриет лежала в постели в объятиях Дэвида — они, как всегда, обсуждали события дня, и Гарриет озвучила одну из потока мыслей о проходящем лете:

— Знаешь, для чего подходит этот дом? Зачем сюда едут люди? Хорошо провести время, и все.

Дэвид удивился. Больше того — ей показалось, что он шокирован.

— Но для чего же еще мы их зовем? — спросил он.

— Не знаю, — отвечала она, растерявшись.

Затем прижалась к нему и плакала, а он обнимал ее. Они еще не решались заниматься сексом. Прежде такого никогда не было. Они

всегда без затруднений занимались любовью во время беременности и вскоре после родов. Но теперь оба думали: «Это существо появилось у нас, когда мы береглись, как только умели, — а если будет еще один такой?» Оба верили — втайне, стыдясь собственных мыслей, — что Бен сам захотел родиться, вторгся в их обыденную жизнь, у которой совсем не было защиты против такого Бена или кого-либо ему подобного. Но воздержание не только тяготило обоих — оно встало между ними барьером, потому что все время напоминало о том, чего они боялись... так они чувствовали.

Потом случилась беда. Родня только что разъехалась, начались занятия в школе; Пол зашел один в комнату Бена. Пол больше всех детей очаровался малышом. Дороти и Элис, которые были вдвоем на кухне, и Гарриет, которая выходила со старшими детьми в школу, услышали визг. Они бросились наверх и увидели, что Пол просунул руку сквозь прутья кровати, а Бен схватил ее, крепко притянул Пола к прутьям и нарочно гнул его локоть в обратную сторону. Дороти и Элис освободили Пола. Он получил сильное растяжение. Выругать Бена, который верещал от удовольствия победы, никто не потрудился.

Кто бы решился сказать детям: «Берегитесь Бена»? Но после происшествия с Полом в этом уже не было нужды. В тот вечер, слушая рассказ о событии, дети не смотрели ни на родителей, ни на Дороти с Элис. Не смотрели и друг на друга. Они стояли молча, повесив головы. И тут взрослые поняли, что отношение к Бену у детей уже сложилось: они обсуждали его и знали, что о нем думать. Люк, Хелен и Джейн поднялись наверх молча, и это была тяжелая минута для родителей.

Элис, глядя на них, вздохнула:

— Бедняжки.

Дороти сказала:

— Какой стыд.

Гарриет видела, что эти два пожилых, крепких, закаленных борца за выживание с высоты своего жизненного опыта обвиняют ее, Гарриет. Она взглянула на Дэвида и поняла, что он чувствует то же самое.

Порицание, осуждение, неприязнь: казалось, Бен вызывает в людях эти эмоции, вытаскивает из глубины на свет...

На следующий день после происшествия Элис заявила: она считает, что больше не нужна в доме, и вернется к собственной жизни, а Дороти, без всякого сомнения, управится одна. В конце концов, Джейн теперь пойдет в школу. Она еще год могла бы не идти в школу, в настоящую школу, на весь день, но родители решили отдать ее пораньше. Именно из-за Бена, хотя никто не говорил этого вслух. Элис ушла без единого намека на то, что уходит из-за Бена. Но она сказала Дороти, которая передала Дэвиду и Гарриет, что этот ребенок наводит на нее жуть. Не иначе его подбросила нечистая сила. Дороти, всегда благоразумная, хладнокровная, трезвая, посмеялась над ней.

— Да, я посмеялась над ней, — дoloжила она и добавила мрачно: — Но с чего это?

Дэвид и Гарриет беседовали тихими, почти виноватыми голосами, полными сомнения, — так, казалось, диктовал им Бен. А ребенку не было еще и полугода... Он разрушит их семью. Он уже разрушал ее. Им придется следить, чтобы он был в своей комнате во время обеда или когда дети внизу со взрослыми — в общем, в семейное время.

Теперь Бен почти все время оставался в комнате, как узник. В девять месяцев он перерос ограду своей кровати: Гарриет застала его, когда он собирался перевалиться через борт. В комнату поставили маленькую кровать, обычную. Бен без труда ходил, придерживаясь за стену, за стул. Он совсем не ползал, сразу встал на ноги. По комнате были разбросаны игрушки — или, вернее, их фрагменты. Бен не играл в игрушки: он колотил ими по полу или по стене, пока не ломались. В тот день, когда ему удалось удержаться на ногах, ни на что не опираясь, он испустил торжествующий рев. Другие дети, достигнув подобного успеха, радовались, хохотали, ждали, что их похвалят, что все будут восхищаться ими и любить их. А этот — нет. У него было холодное торжество, и он ковылял по комнате с горящими от острого удовольствия глазами, не обращая внимания на мать. Гарриет часто задумывалась, что видит Бен, когда глядит на нее, — ни во взгляде, ни в прикосновении у него ни разу не чувствовалось: это моя мать.

Однажды ранним утром что-то заставило Гарриет встать с постели и зайти в комнату Бена, и, войдя, она увидела, что Бен, качаясь, стоит на окне. Окно было высоко от пола — бог весть, как Бену удалось туда забраться! И оно было открыто. В любую секунду Бен мог вывалиться. Гарриет подумала: «Какая жалость, что я зашла...» — и отказалась ужаснуться такой мысли. В окно вставили крепкую решетку, и Бен, стоя на подоконнике, цеплялся за прутья и тряс ее, оглядывая мир за окном, испуская низкие хриплые крики. Все рождественские каникулы его продержали в комнате. И было странно, как люди, спросив осторожно: «Как Бен?» и получив ответ: «О, у него все нормально», — больше не заговаривали о нем. Иногда особо громкий вопль Бена долетал до большой гостиной и на миг обрывал общий разговор. Затем собеседники хмурились, и Гарриет всегда с ужасом ждала этого, зная, что за гримасами люди прячут свои замечания или мысли, которые нельзя произнести вслух.

Так что дом уже не был прежним; все были скованными и осторожными. Гарриет знала, что иногда, если ее не было поблизости, гости поднимались взглянуть на Бена — из нездорового опасливого любопытства, которое он вызывал. По их глазам она понимала, что они ходили на него поглядеть. «Будто я преступница», — про себя негодовала Гарриет. Она слишком увлекалась молчаливым возмущением, но остановиться, похоже, не могла. Ей казалось, что даже Дэвид ее осуждал. Однажды она сказала ему:

— Наверное, в прежние времена в первобытных обществах вот так обращались с женщинами, родившими уродца. Как будто они виноваты. Но мы-то считаемся цивилизованными людьми!

Дэвид ответил мягко и осторожно, как всегда теперь к ней обращался:

— Ты преувеличиваешь.

— Отличное слово — очень по делу! Поздравляю! «Преувеличиваешь»!

— Господи, Гарриет... — Дэвид заговорил другим, беспомощным голосом. — Давай без этого — если *мы* не будем друг друга поддерживать, то...

Была Пасха, когда школьница Бриджит, которая вернулась посмотреть, на месте ли ее волшебное царство обыденной жизни, спросила:

— А что с ним? Он debil?

— Даун, — ответила Гарриет. — «Дебил» теперь не говорят. Но нет, он не даун.

— А что с ним тогда?

— Абсолютно ничего, — сказала Гарриет сухо. — Как ты и сама видишь.

Бриджит уехала и больше никогда не бывала у них.

Вновь летние каникулы. 1975 год. Гостей приехало меньше: некоторые писали или звонили, говорили, что у них нет денег на железнодорожный билет или на бензин.

— Любой предлог лучше, чем никакого, — заметила Дороти.

— Но у людей трудности, — сказал Дэвид.

— Прежде они не настолько бедствовали, чтобы не приехать и не пожить тут за твой счет несколько недель.

Бену шел уже второй год. Он до сих пор не говорил ни слова, но в других отношениях был нормальнее. Теперь держать его в комнате стало трудно. Дети, играя в саду, слышали его зычные сердитые крики и видели, как он стоит на подоконнике, пытаясь разогнуть прутья решетки.

Так что он вышел из своей маленькой тюрьмы и присоединился к ним внизу. Казалось, он понимает, что должен быть как все. Он стоял, опустив голову, и смотрел, как взрослые разговаривают и смеются, сидя вокруг большого стола или на диванах в гостиной, где снуют туда-сюда дети. Посмотрит на одного, потом на другого, и на кого бы он ни смотрел, человек обязательно чувствовал этот тяжелый взгляд и замолкал на полуслове или поворачивался спиной или плечом, чтобы не видеть Бена. Одним своим появлением тот мог заставить затихнуть полную комнату народу, а то и разогнать всех: под любыми предложениями люди расходились.

Под конец каникул кто-то приехал с собакой, маленьким терьером. Бен не мог отстать от нее ни на миг. Куда бы ни побежала собачка, он шел следом. Не играл с ней, не гладил: стоял и смотрел, не отрываясь. Однажды утром, когда Гарриет спустилась на кухню приготовить детям завтрак, собачка лежала мертвой на полу. Сердечный приступ? Гарриет вдруг стало дурно от нехорошей догадки, и она бросилась наверх, убедиться, что Бен у себя: он сидел на корточках в кроватке и, когда Гарриет вошла, поднял голову и засмеялся, но беззвучно, в своей манере, как будто скалясь. Выходило, что он открыл дверь комнаты, тихонько прошел мимо спящих родителей вниз по лестнице, нашел собаку, убил ее, вернулся к себе наверх, в свою комнату, закрыл дверь... и все самостоятельно! Гарриет заперла Бена: если он смог убить собаку, то вполне мог бы и ребенка.

Когда она спустилась обратно, дети уже собрались вокруг мертвой собачки. Скоро появились и взрослые; что они думают, было очевидно.

Разумеется, это было невозможно — чтобы младенец убил проворную собаку. Но официально причина смерти животного осталась загадкой — ветеринар сказал, что собачку задушили. Это происшествие испортило остаток каникул, и гости разъехались до времени.

Дороти сказала:

— Теперь они дважды подумают, ехать ли сюда еще.

Через три месяца точно так же кто-то убил старого серого кота по кличке Мистер Макгрегор. Кот всегда боялся Бена и старался держаться от него подальше. Но Бен, видимо, подстерег его или застал где-то спящим.

На Рождество дом остался полупустым.

Это был худший год в жизни Гарриет, и огорчаться оттого, что люди избегают их, она уже не могла. Каждый день был как долгий дурной сон. Утром Гарриет просыпалась, не веря, что сможет дотерпеть до вечера. Бен был все время на ногах, и смотреть за ним нужно было ежесекундно. Спал он мало. Большую часть ночи проводил, стоя на подоконнике и глядя в сад, и, если заходила Гарриет, оборачивался и бросал на нее долгий пристальный взгляд, недобрый, холодный: в

полумраке комнаты он и в самом деле был похож на притаившегося тролля или гоблина. Если днем его запирали, он визжал и ревел на весь дом, и они опасались, что приедет полиция. Внезапно, без всякой видимой для Гарриет причины, он срывался с места и бежал в сад, а там — за ворота и на улицу. Однажды Гарриет гналась за ним целую милю или больше, замечая только, как приземистая коренастая фигура мчится через перекрестки, не обращая внимания ни на гудки машин, ни на предостерегающие крики пешеходов. Гарриет плакала, задыхалась, едва не тронулась умом, отчаянно стараясь догнать его, пока не случится ужасное, но на бегу она молилась: «Пусть его задавят, пусть задавят, *пожалуйста...*» Она догнала его уже почти на шоссе, схватила и держала изо всех сил, а он вырывался. Плевался и шипел, извиваясь у нее в руках, как чудовищная рыбина. Мимо проезжало такси, Гарриет махнула, затолкала ребенка в машину, сама влезла следом, крепко схватив его за руку, которая так молотила и рвалась, что, казалось, вот-вот сломается.

Что было делать? Гарриет снова пошла к доктору Бретту, который осмотрел Бена и сказал, что физически тот в полном порядке.

Гарриет описала поведение Бена, доктор выслушал.

Время от времени хорошо спрятанное недоверие мелькало на его лице, он опускал глаза и принимался вертеть в руках карандаш.

— Можете спросить Дэвида или мою мать.

— Он гиперактивный ребенок — кажется, так это теперь называется, — сказал старорежимный доктор Бретт. Она и ходила к нему потому, что он был старорежимный. Наконец он посмотрел на Гарриет, не избегая ее взгляда. — Чего вы ждете от меня, Гарриет? Опоить его таблетками до одурения? Что ж, я против.

В душе она кричала: «Да, да, да, я хочу именно этого!» Но вслух произнесла:

— Нет, конечно, нет.

— Физически он нормален для восемнадцати месяцев. Конечно, он очень силен и активен, ну так он всегда был таким. Вы говорите, он

еще не разговаривает? Но в этом нет ничего необычного. Кажется, Хелен тоже поздно заговорила? Правильно?

— Да, — сказала Гарриет.

Она отвела Бена домой. Теперь его запирали на ночь и поставили на дверь тяжелый засов. Когда он не спал, за ним присматривали каждую секунду. Гарриет следила за ним, пока всеми прочими делами занималась ее мать. Дэвид говорил:

— Как благодарить вас, Дороти? Похоже, это уже давно вышло за пределы всяких благодарностей.

— Это давно вышло за любые пределы. И точка! — сказала Дороти.

Гарриет стала худой, загнанной, глаза покраснели. Она опять начала плакать без всякого повода. Дети старались держаться от нее подальше. Из деликатности? Или боялись ее? Дороти предложила в августе оставить Бена на недельку с ней, а им всем куда-нибудь съездить вместе.

Ни Гарриет, ни Дэвид при обычных обстоятельствах не захотели бы никуда ехать, потому что любили свой дом. А как насчет приезда родни на лето?

— Что-то не заметила, чтобы они кинулись бронировать комнаты, — сказала Дороти.

Они уехали во Францию на машине. Для Гарриет это было сплошное счастье: она чувствовала, что ей вернули детей. Она никак не могла ими надышаться, а они — ею. И Пол — ее малыш, которого Бен лишил ее, чудесный трехлетний Пол, очаровашка, прелесть — снова был ее ребенком. Они по-прежнему были одной семьей! Счастье... они не могли поверить, никто из них, что Бен мог отнять у них так много.

Вернувшись, они нашли Дороти усталой, на руке у нее был синяк, на щеке — второй. Что случилось, она не рассказала. Но в первый вечер, когда дети легли спать, заявила Гарриет и Дэвиду:

— Я вам кое-что скажу — нет, сядьте и послушайте!

Они сели с Дороти за кухонным столом.

— Вы оба должны посмотреть правде в глаза. Бена нужно отдать в специальное учреждение.

— Но он нормальный, — сказала Гарриет, мрачняя. — Так сказал доктор.

— Может, он нормальный для того, кто он есть. Но не такой нормальный, как мы.

— Какое учреждение может его принять?

— Ну должно же что-то быть, — сказала Дороти и заплакала.

Так и пошло: каждую ночь Гарриет и Дэвид лежали без сна, разговаривали, что им делать. Они снова занимались любовью, но это было уже не то.

— Так, наверное, чувствовали себе женщины, пока не изобрели контрацепцию, — говорила Гарриет. — Запуганные. Ждали каждых месячных, и если дожидались — получали очередную передышку. Но никто не боялся родить тролля!

Разговаривая, они всегда слушали звуки из «комнаты малыша» — название, которого они теперь не говорили, потому что оно вызывало страдание. Что там Бен сейчас делает такого, на что они не считали его способным? Раздвигает толстые прутья стальной решетки?

— Беда в том, что к этому аду привыкаешь, — говорила Гарриет. — Прожив с Беном день, я начинаю думать, что ничего не существует, кроме него. И никогда ничего не существовало. Ловлю себя на том, что часами не вспоминаю о других детях. Вчера я забыла про ужин. Дороти пошла в кино, и я, когда спустилась, увидела, что Хелен готовит им ужин.

— Никто не отравился.

— Ей *восемь лет*.

Неделя во Франции напомнила ей, какой была когда-то и могла быть теперь их настоящая семейная жизнь, и Гарриет твердо решила

больше не поступаться этим. Она заметила, что снова начала в мыслях обращаться к Бену: «Я не позволю тебе нас погубить, ты меня не одолеешь...»

Она настроилась на очередное полноценное Рождество, всем писала и звонила. Она не забывала сообщать, что Бен «сейчас стал намного лучше».

Сара спросила, можно ли «спокойно» привозить Эми. Это значило, что она слышала — да все слышали — про собаку и про кошку.

— Все будет спокойно, если мы позаботимся не оставлять Эми с ним наедине, — ответила Гарриет, и Сара после долгого молчания сказала:

— Боже мой, Гарриет, выходит, нам с тобой обеим выпала не та карта?

— Похоже, — ответила Гарриет, но она отказывалась покориться и отдаться в жертву року. Сара — да; с ее семейными проблемами и ребенком-дауном — да. Но неужели она, Гарриет, в той же лодке?

Своим детям она сказала:

— Пожалуйста, приглядывайте за Эми. Никогда не оставляйте ее наедине с Беном.

— Он может причинить Эми зло, как Мистеру Макгрегору? — спросила Джейн.

— Он убил Мистера Макгрегора, — злобно проговорил Люк. — *Убил.*

— И бедную собачку, — сказала Хелен.

Оба упрекали Гарриет.

— Да, — ответила Гарриет, — он может. Поэтому и надо присматривать за ней все время.

Дети переглянулись, как стали переглядываться в последнее время — избегая Гарриет, о чем-то своем. И ушли не глядя на мать.

Рождество, хотя гостей было меньше, получилось праздничным и шумным — вполне удачным; но Гарриет вдруг поняла, что ей не

терпится, чтобы оно скорее прошло. Она перенапряглась от всего этого: смотреть за Беном, смотреть за Эми, которая стала гвоздем программы. У Эми была огромная голова и слишком коренастое тело, но сама она расточала любовь и поцелуи, и все ее обожали. Хелен, когда-то мечтавшая нянчиться с Беном, теперь могла ласкать Эми. Бен наблюдал все это молча, и Гарриет не могла прочесть ничего в его холодных желто-зеленых глазах. Но она и прежде не могла! Порой ей казалось, что вся ее жизнь проходит в усилиях понять, что чувствует и думает Бен. Эми, которая привыкла, что все ее любят, сначала пошла было к Бену, смеясь, кудахча и вытянув руки. Она была в два раза старше Бена, но казалась в два раза младше — и несчастный ребенок, обычно светящийся нежностью, вдруг смолк; с огорченным лицом девочка отшатнулась, не сводя глаз с Бена. Точно как бедный кот Мистер Макгрегор. И после этого она плакала всякий раз, едва увидев Бена. А он не сводил глаз с нее — другого больного ребенка, которого весь дом обожал. Только понимал ли он, что сам болен? И был ли он больным на самом деле? *Кем он был?*

Рождество миновало, Бену шел третий год. Пола отдали в небольшой детский сад в конце улицы, чтобы держать подальше от Бена. От природы непосредственный и дружелюбный мальчик становился нервным и раздражительным. У него начались страхи, приступы гнева, он с визгом бросался на пол или принимался колотить Гарриет по коленкам, чтобы перехватить ее внимание, которое, казалось, всегда было обращено к Бену.

Дороти уехала погостить у Сары.

Целый день Гарриет оставалась с Беном одна. Она пыталась быть с ним такой, какой была с остальными детьми. Устраивалась рядом на полу с кубиками и игрушками, которые можно мять и ломать. Показывала ему яркие картинки. Пела песенки. Но Бен, казалось, не воспринимал ни игрушек, ни кубиков. Сидел посреди россыпи ярких предметов, иногда брал один-другой кубик, смотрел на Гарриет, чтобы понять, того ли от него ждут. Тупо глядел в картинки, которые она показывала, пытаясь расшифровать их язык. Никогда не просился к Гарриет на колени, сидел рядом на корточках, и когда она говорила: «Смотри, Бен, это птица — как вон та птица там, на дереве. А это цветок», — он смотрел и отворачивался. Очевидно, дело было не в том, что он не мог понять,

как один кубик стыкуется с другим и как построить из них башню, — он просто не видел в этом смысла так же, как и в цветке, и в птице. Может, он был слишком развит для таких игр? Иногда Гарриет казалось, что так и есть. Его реакция на детские картинки была такой: он вышел в сад и подстерег на лужайке дрозда; припал к земле и ловким броском едва не схватил птицу. Сорвал головки нескольких примул и стоял, держа их в руках и напряженно рассматривая. Потом смял их в маленьких сильных кулаках и бросил. Обернувшись, он увидел, что Гарриет смотрит на него: казалось, он чувствовал, что она чего-то от него ждет, но не мог понять чего. Он поглядел на весенние цветы, поднял глаза на черную птицу на ветке и медленно вернулся в дом.

Потом настал день, когда Бен заговорил. Вдруг. Он сказал не «мама», не «папа», не назвал собственное имя. Он сказал:

— Хочу печенья!

Гарриет даже не сразу поняла, что он заговорил. Потом до нее дошло, и она рассказала всем:

— Бен заговорил. Сразу предложениями.

Остальные дети, по обыкновению, принялись подбадривать Бена:

— Отлично, Бен... Умница Бен, — но он не обращал на них никакого внимания.

С тех пор он начал заявлять о своих нуждах. «Хочу это», «Дай мне вон ту», «Пойдем гулять!» Речь его была медленной и нерешительной, каждое слово отдельно, как будто его мозг — большой чулан, заваленный понятиями и предметами, которые нужно опознавать.

Дети вздохнули с облегчением — Бен нормально заговорил.

— Привет, Бен, — скажет, бывало, кто-нибудь из детей.

— Привет, — ответит Бен, осторожно возвращая точно то же, что дали ему.

— Как дела, Бен? — спрашивала Хелен.

— Как дела, — отвечал Бен.

— Нет, — говорила Хелен, — надо отвечать: «Спасибо, у меня все отлично» или: «Нормально».

Уставившись на нее, Бен соображал. Потом неловко выговаривал:

— У меня все отлично.

Он постоянно наблюдал за другими детьми, особенно за Люком и Хелен. Изучал, как они двигаются, садятся, встают; копировал их за едой. Он понял, что эти двое, старшие, более приспособлены к обществу, чем Джейн; Пола он просто игнорировал. Если дети смотрели телевизор, Бен садился на корточки и смотрел то на экран, то на их лица — ему нужно было знать, какие реакции уместны. Если они смеялись, то через секунду и он заливался громким, резким, неестественным смехом. Когда он был весел, естественной для него казалась эта его недобрая и враждебная усмешка-оскал. Если дети молча замирали, увлекшись каким-то волнующим эпизодом, то Бен напрягался, как они, будто захваченный экраном, но на самом деле не сводил глаз с остальных.

В целом с ним стало проще. Гарриет думала: конечно, у любого нормального ребенка самое трудное время — примерно год после того, как ребенок пошел. Нет инстинкта самосохранения, нет чувства опасности: они набивают шишки об кровати и стулья, выходят в окна, выбегают на дороги, за ними нужно смотреть каждую секунду... Но в это время, добавляла Гарриет, они самые очаровательные, прелестные, душераздирающе милые и смешные. Дальше они постепенно становятся все благоразумнее, и жить уже легче.

Легче... но так ей только казалось — это дала ей понять Дороти.

Дороти вернулась после нескольких недель так называемого «отдыха», и Гарриет поняла, что мать собирается с ней серьезно поговорить.

— Ну что, девочка, скажешь, что я вмешиваюсь? Лезу с ненужными советами?

Они сидели с чашками кофе за большим столом, была середина утра. Бен, как всегда, был у них на глазах, Дороти старалась, чтобы ее слова звучали с юмором, но Гарриет чувствовала угрозу. Ее обычный румянец сменился краской смущения, голубые глаза встревоженные.

— Нет, — сказала Гарриет. — Не вмешиваешься. Не лезешь.

— Ладно, тогда позволь мне сказать.

Но тут ей пришлось остановиться: Бен принялся лупить камнем в металлический поднос. Колотил изо всех сил. Стоял дикий грохот, но женщины дождались, пока Бен закончит: если его остановить, он разозлится, будет шипеть и плевать.

— У тебя пятеро детей, — сказала Дороти. — Не один. Ты понимаешь, что, когда я здесь, я и остальным с таким же успехом могу быть за маму? Нет, наверное, не понимаешь, ты же слишком занята...

Бен опять взялся бить камнем по железу в буйном ликовании свершения. Казалось, он думает, что бьет молотом, кует; таким Бена легко можно было представить в копиях глубоко под землей, с его народом. Женщины опять выждали, пока прекратится шум.

— Так нельзя, — сказала Дороти.

И Гарриет вспомнила, как материнское «нельзя» определяло все ее детство.

— Я старею, пойми, — начала Дороти. — Я так больше не могу, иначе я заболею.

Верно, Дороти заметно исхудала, даже высохла. Да, подумала Гарриет, мучаясь: это надо было заметить раньше.

— А еще у тебя есть муж, — продолжила Дороти, очевидно не замечая, что проворачивает нож в сердце дочери. — Прекрасный муж, Гарриет. Я не понимаю, как он все это терпит.

Когда Бену сравнялось три, Рождество лишь отчасти заполнило дом гостями. Двоюродная сестра Дэвида сказала:

— Я всегда брала с тебя пример, Гарриет! В конце концов, у меня тоже есть дом. Не такой большой, как у тебя, но милый маленький домик.

Кое-кто из родни отправился на Рождество туда. Но остальные сказали, что приедут, сочли необходимым приехать — так это поняла Гарриет. Это были близкие родственники.

Опять привезли животное. На сей раз большого пса, веселую и игривую дворнягу, любимца Сариных детей и особенно — Эми. Ясно, что все дети полюбили его, а больше всех — Пол, и от этого у Гарриет щемило сердце, ведь у себя дома они не могли завести ни собаки, ни кошки. Она даже подумала было: ну, Бен стал разумнее, так, может... Но она знала, что это недопустимо. Гарриет видела, что большой пес как будто понимал, что к Эми — нежному маленькому ребенку в крупном уродливом теле — нужно относиться бережно: с ней он смирал свой бурный нрав. Эми садилась рядом с ним и обнимала за шею, и если стискивала неловко, пес поднимал морду и осторожно отодвигал Эми или тихо и опасно рычал, как бы говоря: «Поосторожнее». Сара утверждала, что этот пес для Эми вроде няньки.

— Прямо как Нэна в «Питере Пэне», — говорили дети.

Но если в комнате находился Бен, собака внимательно наблюдала за ним, ложилась в углу, клала голову на вытянутые лапы, застыв от напряжения. Однажды утром, когда все сидели и завтракали, что-то заставило Гарриет обернуться, и она увидела, что собака спит, а Бен тихо крадется к ней, низко припав к земле и вытянув руки.

— Бен! — резко окликнула его Гарриет.

Холодные глаза обратились на нее, блеснули чистой злобой.

Разбуженный пес подскочил, шерсть встала дыбом. Тревожно взыв, он перешел в ту часть комнаты, где сидели люди, и лег под столом.

Все это видели и сидели молча, а Бен подошел к Дороти:

— Хочу молока.

Она налила, и он выпил до дна. Потом обернулся: все внимательно смотрели на него. И опять, казалось, он пытался понять людей. И вышел в сад, оставаясь на виду: маленький коренастый гном, ковыряющий землю прутиком. Остальные дети в это время были где-то наверху.

За столом сидели: Дороти с Эми на коленях, Сара, Молли, Фредерик, Джеймс и Дэвид. Еще Анджела, успешная сестра, «молодчина», у которой все дети были нормальные.

Обстановка вынудила Гарриет дерзко сказать:

— Ну что ж, давайте начинайте.

Она поняла, что это было, как говорится, значимо — разговор начал Фредерик, который сказал:

— Ладно, послушай, Гарриет, тебе надо понять: Бена нужно отдать в специальное учреждение.

— Тогда нам нужно найти врача, который скажет, что Бен ненормальный, — сказала Гарриет. — Доктор Бретт явно не скажет.

— Найдите другого, — сказала Молли, — все это как-то можно уладить.

Двое крупных мешковатых людей с красными упитанными лицами объединились в своей решимости, в них не осталось никакой неопределенности — они поняли: налицо кризис, который угрожает — пусть и не напрямую — им самим. «Они выглядят как пара славно отобедавших судей», — подумала Гарриет и взглянула на Дэвида, чтобы узнать, разделяет ли он ее недовольство, но Дэвид сидел, потупив взгляд и плотно сжав губы. Он был с ними заодно.

Анджела сказала со смехом:

— Типичная жестокость высшего общества.

Никто не помнил, чтобы когда-либо раньше за этим столом звучали такие слова, во всяком случае — столь резко. Наступило молчание, и Анджела смягчила его:

— Не то чтобы я была против.

— Конечно, ты — за, — сказала Молли, — тут любой разумный человек согласится.

— Потому что вы так об этом говорите, — сказала Анджела.

— Какая разница, как сказать? — поинтересовался Фредерик.

— Но кто будет за это платить? — спросил Дэвид. — Я не смогу. Я могу только оплачивать наши счета, да и то с помощью Джеймса.

— Что ж, Джеймсу придется взять на себя и этот груз, — сказал Фредерик, — но мы тоже поучаствуем.

Впервые эти двое предложили какую-то денежную помощь. «Скряги, как и все им подобные» — в этом сходились остальные члены семьи, и теперь это суждение вспомнилось. Они приезжали на десять дней с парой фазанов и парой бутылок изысканного вина. Их «участие», это все понимали, не будет сильно заметным.

Семья, расколотая противоречием, молчала. Потом заговорил Джеймс:

— Я сделаю, что смогу. Но сейчас дела идут не так хорошо, как прежде. В трудные времена яхты перестают быть предметом первой необходимости.

Опять наступило молчание, все смотрели на Гарриет.

— Смешные вы люди, — сказала она, отстраняясь от них. — Вы так часто здесь бываете и *знаете*, то есть *на самом деле* знаете, в чем проблема. Что мы скажем там, в этом учреждении?

— Зависит от учреждения, — сказала Молли, и ее крупное тело, казалось, наполнилось энергией и уверенностью; как будто она проглотила Бена целиком и уже переваривает его, подумала Гарриет. Хотя ее уже трясло, Гарриет довольно спокойно сказала:

— Вы говорите, что нужно найти такое место, куда забирают детей, от которых родители просто захотели избавиться?

— Богатые родители, — уточнила Анджела, тихо презрительно фыркнув.

Молли, отвечая на дерзость, сказала твердо:

— Да. Если не найдется никакого другого учреждения. Но очевидно одно: если ничего не сделать, будет катастрофа.

— Это уже катастрофа, — сказала Дороти, твердо обозначая свою позицию. — Остальные дети... Они страдают. Ты так втянулась во все это, девочка, что не замечаешь.

— Послушайте, — сказал Дэвид, возмущенный и рассерженный, потому что происходящее было ему невыносимо; нити, которые связывали его с Гарриет и с родителями, натягивались и рвались. — Послушайте, я согласен. И когда-нибудь Гарриет тоже придется согласиться. Насколько я вижу, это «когда-нибудь» уже наступило. Не думаю, что смогу терпеть дальше.

Тут он посмотрел на жену, и это был умоляющий, страдающий взгляд. *«Прошу тебя, — говорил этот взгляд, — прошу тебя».*

— Хорошо, — сказала Гарриет, — если вы сможете найти такое место, где... — И она расплакалась.

Из сада вернулся Бен и, рассматривая их, остановился, как всегда, в стороне от всех. На нем были коричневые штанишки и коричневая рубашка, все из прочного материала. Все, что на него надевали, было толстым, потому что он рвал на себе одежду, изничтожал ее. С его колючими, низко растущими желтоватыми волосами, неподвижными немигающими глазами, сутулый, с расставленными ногами и вывернутыми коленями, стиснутыми и выставленными вперед кулаками, он как никогда напоминал гнома.

— Она плачет, — заметил он о матери.

Взял со стола кусок хлеба и вышел вон.

— Ладно, — сказала Гарриет, — так *что* вы будете им говорить?

— Оставь это нам, — сказал Фредерик.

— Да-да, — сказала Молли.

— Господи! — сказала Анджела с горьким пониманием. — Иногда, когда я с вами, я знаю про эту страну все.

— Спасибо, — сказала Молли.

— Спасибо, — сказал Фредерик.

— Ты совершенно несправедлива, моя девочка, — сказала Дороти.

— *Справедлива*, — сказали Анджела, Гарриет и Сара, ее дочери, почти одновременно.

И все, кроме Гарриет, засмеялись. Таким образом решилась судьба Бена.

Через несколько дней позвонил Фредерик — место нашлось, и за Беном приедет машина. Без промедления. Завтра.

Гарриет взвилась: к чему такая спешка, такая — да — жестокость! А врач, который должен это предписать? Или предпишет? Даже ни разу не увидав Бена? Она высказала все это Дэвиду и по его поведению поняла, что многое было сделано у нее за спиной. Родители говорили с Дэвидом в его офисе. Дэвид сказал что-то вроде: «Да, я займусь», и Молли, которую Гарриет в один миг возненавидела, сказала: «Будь с Гарриет постороже».

— Или мы, или он, — сказал Дэвид жене. И добавил голосом, полным холодной неприязни к Бену: — Может, он свалился к нам прямиком с Марса. Пусть отправится обратно и доложит, что он тут у нас обнаружил.

Дэвид рассмеялся — безжалостно, как показалось Гарриет, которая молча впитывала то, что уже, конечно, наполовину знала, — что жизнь Бена в том учреждении, каково бы оно ни было, не продлится долго.

— Он маленький ребенок, — сказала она. — *Наш ребенок*.

— Нет, — твердо сказал Дэвид. — Ну, уж точно не мой.

Они сидели в гостиной. Далекие и четкие голоса детей доносились из темного зимнего сада. Один и тот же импульс заставил Дэвида и Гарриет подойти к окну и отодвинуть тяжелые шторы. В саду виднелись смутные силуэты деревьев и кустов, но свет из теплой комнаты, достигавший зарослей на том конце лужайки, которые чернели по-зимнему резко, освещал хрупкий подрост, в котором поблескивала вода, и падал на белый ствол березы. Две маленькие фигуры, одинаково бесполое в разноцветных пуховиках, штанах и вязаных шапках, возникли из темноты между стволов и двинулись к дому. Это были Хелен и Люк, захваченные каким-то приключением. У обоих в

руках были палки, которыми они то и дело тыкали в прошлогоднюю листву.

— Вот он! — голос Хелен зазвенел торжеством, и родители увидели поднятый на свет на конце палки потерянный летом красно-желтый пластмассовый мячик. Грязный, сплюснутый, но целый. Дети затеяли быстрый танец с притопываниями: круг за кругом, радостно подняв над головой отыскавшийся мячик. Потом, вдруг, без всякой видимой причины, бросились наперегонки к дому. Гарриет и Дэвид сидели на диване, глядя на них сквозь стеклянные двери, которые резко распахнулись, и вот они — два маленьких изящных милых существа, с ярко-алыми, обожженными морозом щеками, с глазами, полными возбуждения от темной чащи, где эти двое только что были. Они стояли, тяжело дыша, взгляд медленно возвращался к реальности: теплой, освещенной семейной комнате и родителям, что сидели там и смотрели на них. На какой-то миг это была встреча двух разных форм жизни: дети несли в себе какую-то первобытную дикость, она еще стучала в их крови, но им пришлось оставить ее, чтобы воссоединиться с семьей. Дэвид и Гарриет понимали детей, они сами были такими же в своих фантазиях и детских воспоминаниях и ясно видели себя нынешних: двое взрослых, смирных, домашних людей, почти жалких в их отлучении от стихии свободы.

Дети увидели, что родители одни, никого, а главное — Бена в комнате нет, и тогда Хелен подошла к папе, а Люк — к маме, и родители обняли своих шептунских детишек, *своих* детей — обняли крепко.

А наутро приехала машина за Беном — маленький черный фургон. Гарриет знала, что машина приедет, потому что Дэвид не ушел на работу. Значит, он остался дома, чтобы «удержать» ее! Дэвид сходил наверх и вынес чемоданы и сумки, которые спокойно упаковал, пока Гарриет кормила детей завтраком.

Забросил вещи в машину. Потом с каменным лицом — Гарриет едва узнавала его — поднял Бена, который сидел на полу в гостиной, отнес к машине и посадил. Затем быстро подошел к Гарриет, все с тем же суровым лицом, обнял ее одной рукой, отвернул от фургона, который уже катил прочь (Гарриет слышала доносящиеся из него вопли и вой), подвел к дивану, где, все еще крепко держа ее, сказал много раз подряд:

— Так надо, Гарриет, так надо.

Она расплакалась — оглушенная случившимся, но освобожденная и благодарная Дэвиду, который взял на себя всю ответственность.

Когда дети вернулись домой, им сказали, что Бен уехал жить в другое место.

— К бабушке? — спросила, беспокоившись, Хелен.

— Нет.

Четыре пары настороженных, подозрительных глаз разом засветились облегчением. Истерическим облегчением. Дети запрыгали, не в силах удержаться, и тут же стали притворяться, будто это игра, которую они только что выдумали.

За ужином они истерично веселились и хихикали. Но в миг затишья Джейн резко спросила:

— Вы нас тоже отошлете?

Джейн была спокойной, флегматичной малышкой, Дороти в миниатюре, никогда не говорила сверх необходимости. Но в тот момент ее большие голубые глаза в ужасе уставились в лицо матери.

— Нет, конечно, — ответил Дэвид, но прозвучало это довольно грубо.

Люк объяснил:

— Они отослали Бена, потому что на самом деле он не наш.

В последующие дни семья расцвела, как китайский бумажный цветок в воде. Гарриет поняла, какой обузой для семьи был Бен, как он угнетал их всех, как сильно страдали дети; поняла, что дети говорили о Бене куда больше, чем родители готовы были признать, что они пытались найти с ним общий язык. Но теперь Бен уехал, и у них загорелись глаза, дети были в замечательном настроении и все время подходили к Гарриет с маленькими подношениями — конфетку, игрушку: «Это тебе, мам». Или бросались целовать ее, гладить по лицу или тереться носом — как счастливые телята или жеребята. И Дэвид взял на работе

несколько дней отпуска, чтобы провести их со всеми — чтобы провести их с ней. Он был заботлив и ласков.

«Будто я больна!» — возмущенно подумала она. Конечно, Гарриет все время думала о Бене, томящемся в заключении. В каком заключении? Она вспоминала маленький черный фургон, гневные вопли увозимого Бена.

Дни шли, и в дом возвращалась нормальная жизнь. Дети заговорили о пасхальных каникулах.

— Хорошо, что Бена в этот раз не будет, — сказала Хелен.

Они всегда понимали гораздо больше, чем Гарриет хотелось бы.

Но хотя ей, как и всем, стало легче, и уже не верилось, как она выдерживала бывшее напряжение, Гарриет не могла изгнать Бена из своих мыслей. И думала она о нем не с любовью, даже не с жалостью, и злилась на себя за то, что не находит в себе и малой искры человечности: ужас и раскаяние — вот что ночи напролет не давало ей спать. Дэвид знал, что она не спит, как ни пыталась она это утаить.

И вот как-то утром Гарриет, очнувшись от забытья, от дурного сна, хотя и не помнила какого, сказала:

— Я поеду посмотрю, что там делают с Беном.

Дэвид открыл глаза и лежал безмолвно, уставившись через плечо в окно. Перед этим он не спал, только дремал. Гарриет знала, что он боялся такого поворота, и что-то в нем говорило: ладно, пусть так, с меня хватит.

— Дэвид, я должна.

— Нет, — сказал он.

— Я обязательно должна.

И вот он лежал рядом, не глядя на нее и ничего не говоря после своей односложной реплики, и Гарриет по всему видела, что ей придется плохо, что Дэвид сейчас принимает какое-то решение. Он полежал, не

двигаясь, несколько минут, потом встал с постели, вышел из комнаты и спустился по лестнице.

Одевшись, Гарриет позвонила Молли, которая сразу встретила ее холодным гневом.

— Нет, я не скажу тебе, где он. Вы уже отдали его, и пусть теперь все будет как есть.

Но в конце концов она дала Гарриет адрес.

И опять Гарриет удивлялась, почему к ней всегда относятся так, будто она преступница. Все время так, подумала она, с тех пор как родился Бен. Теперь ей казалось, что и вправду все молча порицают ее. Это моя беда, говорила она себе, а не преступление.

Бена увезли куда-то в Северную Англию — четыре или пять часов езды, а может, и больше, если будет много машин. Машин было ужасно много, и ехать пришлось сквозь серый зимний дождь. Вскоре после полудня Гарриет подъехала к большому массивному зданию из темного камня, где-то в ложбине между вересковых холмов, которые едва виднелись за косым серым дождем. Стены высились прямо и ровно среди мокрых унылых вечнозеленых кустов; в три ряда шли одинаковые зарешеченные окна.

Гарриет вошла в маленький вестибюль; на внутренней двери была приколотая рукописная табличка: «Звоните». Она позвонила, подождала, ничего не происходило. Сердце у нее колотилось. В ней еще кипел адреналин, который побудил ее приехать сюда, но долгая дорога уладила, а тяжелая обстановка говорила ее душе, если не рассудку, — ведь, в конце концов, у нее не было никаких фактов, чтобы так думать, — что ее страхи сбудутся. Только она сама не знала точно, чего боится. Гарриет позвонила еще. Тишина: было слышно дребезжание звонка где-то далеко в глубине дома. И опять ничего, и она уже хотела повернуться и идти в обход к задним дверям, когда дверь внезапно распахнулась, и показалась неопрятная девушка в футболке, вязаной кофте и толстом шарфе. У нее было маленькое бледное лицо под копной кудрявых желтых волос, стянутых синей лентой на манер овечьего хвоста. Девушка выглядела усталой.

— Что вам? — спросила она.

Гарриет поняла, что это значит: сюда просто никогда никто не приходит.

И сказала уже твердо:

— Я — миссис Ловатт, я приехала навестить сына.

Было ясно, что таких слов в этом учреждении — чем бы оно ни было — никак не ждали.

Девушка уставилась на Гарриет, слегка покачала головой, непроизвольно выражая беспомощность, потом сказала:

— Доктора Макферсона на этой неделе нет.

Она тоже была шотландка и говорила с заметным акцентом.

— Кто-то должен его замещать, — решительно сказала Гарриет.

Под напором Гарриет девушка отступила, неуверенно улыбаясь, она заметно встревожилась.

— Подождите здесь, — пробормотала она и исчезла за дверью.

Гарриет прошла следом, прежде чем большая дверь захлопнулась и отрезала ее. Девушка оглянулась на ходу, будто собираясь сказать: «Вам надо подождать там», но вместо этого произнесла:

— Я приведу кого-нибудь. — И зашагала вдоль темной пещеры коридора с маленькими лампочками на потолке, которые едва тревожили тьму.

Пахло дезинфекцией. Стояла полная тишина. Нет, немного спустя Гарриет различила высокий тонкий визг, который возник и стих, а потом начался снова, он доносился откуда-то из дальней части здания.

Ничего не происходило. Гарриет вышла в вестибюль, там было уже темно — наступал вечер. Дождь лил холодным потоком, бесшумным и неослабевающим.

Она решительно позвонила еще раз и вернулась в коридор.

Далеко впереди под крошечными светляками ламп появились две фигуры, они шли к ней. Впереди девушки, которая держала в зубах сигарету и щурилась от дыма, шел молодой человек в белом халате, отнюдь не свежем. Оба выглядели усталыми и смущенными.

Человек был вполне заурядный, но какой-то потрепанный; руки, лицо, глаза — в отдельности ничем не примечательны, но было в нем какое-то исступление, будто он сдерживал гнев или отчаяние.

— Вам сюда нельзя, — сказал он взволнованно и неуверенно. — У нас не предусмотрены посещения.

У него был южнолондонский выговор, монотонный и гнусавый.

— Но я-то здесь, — сказала Гарриет. — Я приехала повидать моего сына Бена Ловатта.

Тут молодой человек потянул воздух и поглядел на девушку, которая сжала губы и подняла брови.

— Послушайте, — сказала Гарриет. — По-моему, вы не поняли. Поймите, я не уеду просто так. Я приехала повидать сына, и я этого добьюсь.

Мужчина понял, что Гарриет настроена серьезно. Он медленно кивнул, будто говоря: «Конечно, только дело не в этом». И жестко посмотрел на Гарриет. Она получила предупреждение — от человека, который взял на себя ответственность предупредить ее. Пожалуй, он был довольно жалок, и определенно изнурен и недокормлен, и работал тут, потому что не мог найти другого места, но весомость его положения — безрадостная весомость — говорила в нем, и это лицо, эти красные от дыма глаза были строги, с ними нужно было считаться.

— Люди, которые сдают сюда детишек, не приходят потом их навещать, — сказал он.

— Вот, вы же совсем не понимаете, — заговорила девушка.

Гарриет услышала собственный сердитый голос:

— Мне тошно слушать, что я не понимаю того, не понимаю этого. Я мать мальчика. Мать Бена Ловатта. *Вы* понимаете?

И вдруг всех троих объединило понимание, даже безнадежное смирение перед слепым роком. Мужчина кивнул и сказал:

— Что ж, пойду посмотрю...

— Я тоже пойду, — сказала Гарриет.

Тут он не на шутку встревожился.

— О, нет, — воскликнул он, — *вы — нет*.

Потом что-то сказал девушке, и та на удивление быстро побежала по коридору.

— Ждите здесь, — сказал он Гарриет и зашагал следом.

Увидев, что девушка свернула вправо и исчезла, Гарриет не задумываясь открыла дверь с правой стороны. Она успела увидеть, как мужчина вскинул руку, проклиная или предупреждая, и тут столкнулась с тем, что оказалось за дверью.

Гарриет стояла в начале длинной палаты, вдоль стен которой теснилось множество кроватей и кроваток. В кроватках были — монстры. Торопливо шагая через палату к дверям в противоположном конце, Гарриет увидела, что в каждой кровати и кроватке лежал младенец или ребенок, в котором человеческий облик безобразно исказился — у кого-то чудовищно, у кого-то — слегка. Младенец-запятая, гигантская голова качается на стебле туловища... Что-то вроде членистого насекомого, огромные выпученные глаза посреди окостеневших хрупких конечностей... Маленькая девочка, вся растекшаяся, плоть оплывает и тает — кукла с раздутыми мучнистыми членами, глаза большие и пустые, как два голубых озера, рот открыт, в нем виден маленький распухший язык. Долговязый мальчик перекошен — одна половина тела как бы свисает с другой. Один ребенок с виду показался нормальным, но потом Гарриет разглядела, что у него нет затылка — сплошное лицо, которое, казалось, визжало на Гарриет. Вереница уродов, почти все они спали, все — молчали. Их буквально до бесчувствия напичкали лекарствами. Нет, молчали все же

не все: из кроватки, завешенной по бокам одеялами, доносились тоскливые рыдания. Тонкий прерывистый вой, уже где-то ближе, по-прежнему нервировал Гарриет. Пахло экскрементами — сильнее, чем дезинфекцией. Но вот она вышла из кошмарной палаты и оказалась в другом коридоре, параллельном первому и точно таком же с виду. В конце коридора показалась девушка, за ней мужчина, они шли в сторону Гарриет, но скоро свернули направо... Гарриет побежала, гулко топая по половицам, свернула в тот же проход и оказалась в тесной комнатке, где были каталки с лекарствами и медицинскими инструментами. Пробежав через нее, она выскочила в длинный коридор с цементным полом, вдоль которого по одной стене шли двери с зарешеченными смотровыми окошками. Молодой мужчина и девушка как раз открывали одну из дверей, когда Гарриет подошла сзади. Все трое тяжело дышали.

— Черт! — Мужчина злился, что Гарриет оказалась здесь.

— Вот уж точно, — сказала Гарриет, когда дверь отворилась в квадратную комнату из блестящего белого пластика, прикрепленного к стенам пуговицами, как подделка под дорогую кожаную обивку. На полу, на зеленом поролоновом матрасе, лежал Бен. Он был без сознания. Голый, замотанный в смирительную рубашку. Из рта торчал бледный желтый язык. Тело мертвенно-белое, зеленоватое. Все — стены, пол, Бен — было вымазано экскрементами. Лужица темной желтой мочи вытекала из-под насквозь промокшей подстилки.

— Вам велели не ходить! — заорал мужчина.

Он взял Бена за плечи, а девушка — за ноги. По тому, как они обращались с ребенком, Гарриет поняла, что они вовсе не зверствуют здесь — дело было в другом. Таким образом — чтобы как можно меньше его касаться — они вынесли Бена из комнаты, пронесли немного по коридору и внесли в другую дверь. Гарриет вошла следом и остановилась, наблюдая. В этой комнате вдоль стены тянулись раковины, была огромная ванна и покатый цементный помост, заставленный пробками. Бена положили на этот помост, развязали смирительную рубашку и, отрегулировав температуру воды, стали мыть из шланга, насаженного на один из кранов. Гарриет смотрела, привалившись к стене. У нее был такой шок, что она просто ничего не чувствовала. Бен не двигался. Он лежал на бетоне, какдохлая рыба,

девушка несколько раз переворачивала его, для чего мужчина на пару секунд переставал обливаться, наконец Бена перенесли на другой помост, там вытерли и замотали в свежую смирительную рубашку из стопки.

— Зачем? — спросила Гарриет гневно.

Ей не ответили.

Ребенка — связанного, без сознания, с вывалившимся языком — вынесли из комнаты, пронесли по коридору в другую — там был цементный настил типа лежанки. Положив Бена, те двое выпрямились и перевели дух:

— Уф.

— Ну, вот он, — сказал мужчина.

Он секунду постоял, закрыв глаза, отдыхая от трудов, потом закурил. Девушка протянула руку за сигаретой — он подал. Они стояли, курили, смотрели на Гарриет замученными потухшими глазами.

Она не находила что сказать. Сердце у нее сжималось, как сжималось бы над любым из ее настоящих, любимых детей, ведь Бен выглядел гораздо более нормальным, чем когда-либо: его холодные недобрые глаза были закрыты. Он был жалок — а прежде он никогда не казался Гарриет жалким.

— Пожалуй, я заберу его домой, — сказала она.

— Как хотите, — сухо ответил мужчина.

Девушка поглядела на Гарриет с любопытством — будто мать была частью странного явления, которым был ее сын Бен, одной с ним природы.

— Что вы собираетесь с ним делать? — спросила она, и Гарриет услышала в голосе девушки страх. — Он такой сильный, никогда ничего похожего не видела.

— Никто из нас не видал ничего похожего, — сказал мужчина.

— Где его одежда?

Тут молодой человек презрительно рассмеялся и сказал:

— Собираетесь одеть его и везти домой просто так?

— Почему нет? Он был в одежде, когда приехал сюда.

Два санитар — сиделки ли, няньки, кто бы они ни были, — переглянулись. Потом оба затаились сигаретами.

Мужчина сказал:

— Кажется, вы не поняли, миссис Ловатт. Сначала скажите, далеко ли вам ехать?

— Четыре или пять часов езды.

Он рассмеялся снова, над невероятностью ситуации — и ее, Гарриет, — и сказал:

— Выйдет он из отключки, и что тогда?

— Ну, он увидит меня, — сказала Гарриет и по их лицам поняла, что ведет себя глупо. — Ладно, что вы тогда посоветуете?

— Заверните его в пару одеял поверх смиренной рубашки, — сказала женщина.

— И гоните как черт! — добавил мужчина.

Трое постояли в молчании, глядя друг на друга долгими спокойными взглядами.

— Вот и попробуйте здесь поработать, — сказала девушка, кипя негодованием на судьбу. — Попробуйте. А я уйду отсюда в конце месяца.

— И я тоже. Никто не выдерживает больше нескольких недель, — сказал мужчина.

— Все нормально, — сказала Гарриет, — я не собираюсь никому жаловаться.

— Вам надо подписать бумагу. Чтобы мы ни за что не отвечали, — сказал мужчина.

Но они долго не могли отыскать бланк. Наконец после долгой возни в шкафу достали полоску бумаги, отпечатанную на ротапринте много лет назад, в которой говорилось, что Гарриет освобождает учреждение от всякой ответственности.

И вот она взяла Бена на руки, в первый раз дотронулась до него. Он был холодный, как мертвец. И тяжестью лежал в ее руках; тут она поняла выражение «мертвый вес».

Она вышла в коридор со словами:

— Я больше не пойду через ту палату.

— Да и кто вас за это осудит? — устало-ехидно сказал мужчина.

Он принес ворох одеял, и в два они завернули Бена, отнесли в машину, положили на заднее сиденье и сверху укрыли еще одеялами. Только лицо осталось на виду.

Гарриет стояла у машины с двумя санитарями. Они едва видели друг друга. Не считая габаритов машины и огня в доме, было темно. Под ногами хлюпала вода. Молодой человек вынул из кармана халата пластиковую упаковку со шприцем, парой игл и несколькими ампулами.

— Возьмите-ка, — сказал он Гарриет. Та помедлила, и девушка сказала:

— Миссис Ловатт, кажется, вы не понимаете...

Гарриет кивнула, взяла упаковку и села в машину.

— В день можно давать только четыре дозы, не больше, — сказал мужчина.

Уже готовясь отпустить педаль сцепления, Гарриет спросила:

— Скажите, как вы думаете, сколько бы он еще протянул?

Их лица были двумя белыми заплатками на сумраке, но Гарриет увидела, как мужчина покачал головой и отвернулся. Раздался голос девушки:

— Никто из них не живет долго. Но этот... он очень сильный. Самый сильный из всех, никто из нас такого не видел.

— Значит, он протянул бы дольше?

— Нет, — ответил мужчина. — Совсем не так. Оттого, что он настолько силен, он все время сопротивляется, так что приходится вводить ему большую дозу. А это убивает.

— Ладно, — сказала Гарриет. — Что ж, спасибо вам обоим.

Они стояли и смотрели, как Гарриет отъезжает, но почти сразу растворились в мокрой темноте. Сворачивая с дорожки, Гарриет увидела их на тускло освещенном крыльце — они будто жались друг к другу и не хотели входить.

Гарриет ехала как можно быстрее сквозь зимний дождь, избегая больших дорог, не выпуская из виду ворох одеял за спиной. Примерно на середине пути она увидела, что одеяла ожили и заколыхались, Бен очнулся с воплем ярости и забился, сполз на пол и начал визжать — не тем тонким механическим визгом, какой Гарриет слышала в больнице, а визгом ужаса, от которого внутри у Гарриет все содрогнулось. Она терпела полчаса, ощущая, как удары сотрясают всю машину. Высматривала обочину, где не было бы других машин, и вот увидела такую, остановилась и, не глуша мотор, вынула шприц. Она умела им пользоваться — приходилось, когда чем-нибудь болели другие дети. Разломила ампулу, на которой не было никакого названия, и наполнила шприц. Перегнулась через спинку сиденья. Бен, голый, если не считать смиренной рубашки, и синий от холода, тужился, бился и вопил. Его глаза, направленные на Гарриет, горели ненавистью, Бен ее не узнал — так ей показалось. Развязать путы она не осмелилась. Колоть рядом с шеей ей было страшно. Наконец удалось схватить и удержать щиколотку, она воткнула иглу в нижнюю часть икры и подождала, пока Бен не обмяк: прошло всего несколько секунд. Что это за вещество?

Гарриет снова уложила Бена на заднее сиденье под одеяла и пустилась к дому по главной трассе. Она приехала около восьми. Дети сейчас должны сидеть вокруг кухонного стола. Дэвид с ними: он не собирался сегодня на работу.

С Беном в виде вороха тряпок на руках — лицо его было прикрыто — Гарриет вошла в гостиную и поглядела через перегородку туда, где за большим столом сидела вся семья. Люк. Хелен. Джейн. Маленький Пол. И Дэвид, с неподвижным и сердитым лицом. И очень усталый.

Она сказала:

— Его там убивали.

И поняла, что Дэвид не простит ей того, что она сказала это при детях. Было заметно, что они испугались.

Гарриет поднялась прямо в большую спальню и через нее прошла в «комнату малыша», где положила Бена на кровать. Он уже приходил в себя. И скоро началось: борьба, корчи и визг. Он опять оказался на полу, катался по полу и снова извивался, гнулся, бился, а глаза его были сама ненависть.

Снять смирительную рубашку было нельзя.

Гарриет спустилась на кухню, взяла молока и печенья; вся семья сидела и смотрела на нее в полном молчании.

От воплей и содроганий Бена трясся весь дом.

— Сейчас полиция приедет, — сказал Дэвид.

— Побудь с ними, — распорядилась Гарриет и понесла еду наверх.

Бен, увидев, что у нее в руках, смолк и стих, глаза стали алчными. Гарриет подняла его, как мумию, поднесла к губам чашку с молоком, и Бен едва не захлебнулся, заглатывая: он умирал от голода. Гарриет кормила его кусочками печенья, держа пальцы подальше от его зубов. Когда все, что она принесла, закончилось, Бен опять начал реветь и биться. Гарриет сделала ему еще укол.

Дети сидели перед телевизором, но не смотрели на экран. Джейн и Пол плакали. Дэвид сидел у стола, подперев голову руками. Гарриет сказала тихо, чтобы слышал только он:

— Ладно, я преступница. Но там его убивали.

Дэвид не пошевелился. Она встала у него за спиной. Не хотела видеть его лица.

— Он бы умер через несколько месяцев, — сказала она. — А может, и недель.

Молчание. Наконец Гарриет обернулась. Она не могла смотреть на Дэвида. Он выглядел больным, но это не болезнь...

Она сказала:

— Я бы этого не перенесла.

Дэвид медленно произнес:

— Я думал, это и было задумано.

Гарриет закричала:

— Да, но ты не видел этого, ты не видел!..

— Я старался *не* увидеть, — сказал Дэвид. — А что, по-твоему, еще могло произойти? Ты думала, его там сделают полноценным членом общества и все будет славно?

Дэвид ерничал, но это потому, что у него стоял ком в горле.

Наконец они посмотрели друг на друга — долго, твердо, зная друг о друге все. Гарриет подумала: ладно, он прав, а я нет. Но так вышло.

И сказала вслух:

— Ладно, уже сделано.

— Вот-вот, это *not juste*.[\[2\]](#)

Она села рядом с детьми на диван. И увидела, что у всех заплаканные лица. Она не могла дотронуться до них, чтобы утешить, потому что это из-за нее они плакали.

Когда она наконец сказала: «Спать», дети поднялись все разом и вышли, не глядя на нее.

Она принесла в большую спальню запас подходящей еды для Бена. Дэвид перетащил свои вещи в другую комнату.

Когда под утро Бен проснулся и начал вопить, она покормила его и уколола.

Детей, как всегда, накормила завтраком, стараясь вести себя обычно. Они тоже старались. О Бене никто не вспоминал.

Когда спустился Дэвид, она попросила:

— Отвези их в школу, пожалуйста.

В доме остались только она и Бен. Когда он очнулся, Гарриет покормила его, но не стала колоть. Он вопил и бился, но, как ей показалось, гораздо слабее.

В момент передышки, когда он вроде бы выбился из сил, Гарриет сказала:

— Бен, ты дома, ты не там.

Он слушал.

— Если ты перестанешь так шуметь, я освобожу тебя из этой штуки, в которую тебя засунули.

Но почти сразу он опять начал вырываться. Сквозь визг Бена Гарриет слышала голоса и вышла к лестнице. Дэвид не поехал на работу, он остался дома помогать ей. Внизу стояли две молодые женщины-полицейские, и Дэвид им что-то говорил. Скоро они ушли.

Что Дэвид им сказал? Она не стала спрашивать.

К тому времени, когда дети должны были вернуться домой, она сказала Бену:

— Теперь я хочу, чтобы ты вел себя тихо, Бен. Сейчас придут остальные дети, и ты напугаешь их, если будешь так орать.

Он стих: это было изнеможение.

Он лежал на полу, уже измазанном экскрементами. Гарриет отнесла его в ванную, распутала, посадила в ванну и помыла, и увидела, что он дрожит от ужаса: когда его мыли в той больнице, он не всегда был без сознания. Она перенесла его обратно в кровать и сказала:

— Если ты опять начнешь, я надену на тебя ту рубашку.

Он заскрежетал зубами, глаза вспыхнули. Но все же он боялся. Гарриет поняла, что управлять им придется через страх.

Она прибралась в комнате, пока Бен лежал, шевеля руками, как будто забыв, как ими пользоваться. В той полотняной тюрьме он, видимо, пребывал все время после того, как оказался в больнице.

Потом он сел на корточки в постели, двигая руками и оглядывая комнату и, наконец, узнавая и дом, и Гарриет.

— Открой дверь, — сказал он.

— Нет, — ответила она. — Сначала я должна убедиться, что ты будешь хорошо себя вести.

Он завелся было снова, но Гарриет закричала:

— Бен, я сказала! Будешь орать и визжать, я тебя свяжу!

Он сдержался. Гарриет подала ему бутерброды, которые он, давась, заталкивал в рот.

Он позабыл все те основные человеческие привычки, научить его которым стоило такого труда.

Пока он ел, Гарриет тихо говорила:

— Теперь послушай меня, Бен. Ты должен слушаться. Если ты будешь хорошо себя вести, тебя не обидят. Ты должен есть, как положено. Ты должен ходить на горшок или в туалет. И не должен вопить и драться.

Она не была уверена, что Бен услышал ее. Повторила еще раз. И еще несколько раз.

В тот вечер она оставалась с Беном и вовсе не видела остальных детей. Дэвид поднялся в другую комнату, не к ней. Как она сама чувствовала в те дни, она защищала всех от Бена, заново обучая его жизни в семье. Но Гарриет знала: они чувствовали, что она повернулась ко всем спиной и предпочла отправиться в чужую страну — с Беном.

В ту ночь Гарриет заперла Бена на ключ и задвинула засов, уложила его без укола, надеясь, что он будет спать. Бен уснул, но проснулся, визжа от страха. Гарриет пошла к нему, он забился в угол кровати, прижался к стене, закрыв лицо согнутой рукой, неспособный ее услышать, а она говорила и говорила, подбирая разумные убедительные слова против нахлынувшего на него ужаса. Наконец Бен затих, и Гарриет дала ему поесть. Он никак не мог наесться: в больнице он по-настоящему голодал. Ведь его приходилось постоянно колоть, а одурманенный, есть он не мог.

Поев, Бен, усевшись на корточки, снова прижался спиной к стене и смотрел на дверь, откуда могли появиться тюремщики: он еще не вполне осознал, что находится дома.

Вот он клюнул носом, с мычаньем проснулся; клюнул... проснулся... Гарриет успокоила его, он заснул.

Шли дни, проходили ночи.

Бен наконец понял, что он дома и в безопасности. Постепенно перестал глотать еду так, будто каждый кусок — последний. Начал понемногу пользоваться горшком, а потом дал взять себя за руку и провести по коридору в туалет. Потом спустился вниз, бросая взгляды вокруг, чтобы увидеть врага прежде, чем его схватят опять. Он понимал, что именно здесь, дома, его поймали в ловушку. И поймал отец. Первый раз, когда Дэвид попался ему на глаза, Бен отпрянул и зашипел.

Дэвид не пытался разубедить его; он решил, что теперь Бен — забота Гарриет, а его забота — дети, настоящие дети.

Бен занял свое место за большим столом среди детей. Не сводил глаз с отца, который предал его. Хелен сказала:

— Привет, Бен.

Потом Люк:

— Привет, Бен.

Потом Джейн. Но не Пол, который был несчастен оттого, что Бен снова здесь, — он вылез из-за стола и плюхнулся на стул, сделав вид, что смотрит телевизор.

Бен наконец ответил:

— Привет. — Его глаза перебежали с одного лица на другое: друг или враг?

Он ел, глядя на них. Когда дети пошли смотреть телевизор, он двинулся с ними, подражая им ради своей безопасности, и смотрел на экран, потому что смотрели они.

Так жизнь в доме вернулась к норме, если вообще можно было употребить такое слово.

Но отцу Бен не доверял; он больше никогда не будет ему верить. Даже если Дэвид просто шел мимо, Бен каменел и подавался назад, а если Дэвид оказывался слишком близко — рычал.

Когда Гарриет уверилась, что Бен оправился, она начала приводить в исполнение идею, которую давно обдумывала. Сад в то лето был ужасно запущен, и заниматься им Ловаттам помогал местный парень по имени Джон. Он был безработный и пробавлялся случайными заработками.

Несколько дней он стриг кусты, выкопал пару больных деревьев, спилил сухой сук, выкосил лужайку. Бена невозможно было от него оторвать. Припав к двери в сад, он ждал прихода Джона, потом всюду ходил за ним, как щенок. Джона это ничуть не стесняло. Он был крупный,

лохматый, дружелюбный парень, добродушный и терпеливый: с Беном он обращался без церемоний, словно тот и вправду был щенком, которого нужно дрессировать. «Нет, ты сиди тут и жди, пока я закончу». «Подержи-ка ножницы, вот так». «Нет, я пошел домой, можешь пойти со мной до ворот».

Когда Джон уходил, Бен, бывало, скулил и хныкал.

И вот Гарриет отправилась в кафе, известное под названием «У Бетти», где, как она знала, околачивался Джон, и нашла там парня с несколькими приятелями. Все они были одной компанией — человек десять молодых безработных, к которым иногда присоединялась парочка девчонок. Гарриет не стала утруждаться что-либо объяснять, потому что уже знала: люди и так все отлично понимают — в том случае, если они не эксперты и не врачи.

Она под села к этим парням и сказала, что Бену до школы еще два года или больше. В обычный детский сад ему нельзя. Говоря слово «нельзя», она внимательно посмотрела на Джона, прямо в глаза, и он просто кивнул. Она хочет, чтобы Бен в течение дня был под присмотром. Плата будет хорошей.

— Хотите, чтобы я сидел у вас дома? — спросил Джон, подразумевая в таком случае отказ.

— Это как захочешь, — сказала Гарриет. — Ты нравишься ему, Джон. Он тебе верит.

Джон поглядел на приятелей: они посоветовались взглядами. Потом кивнул.

С тех пор он являлся почти каждое утро около девяти, и Бен уезжал с ним на мотоцикле: уезжал с восторгом, смеясь, без единого взгляда назад, на мать, отца, братьев и сестер. Был уговор, что Бен исчезает из дому до ужина, но часто он возвращался много позже. Он стал членом шайки молодых безработных, которые торчали на улицах, засиживались в кафе, иногда делали какую-то случайную работу, ходили в кино, гоняли на мотоциклах или на одолженных машинах.

Семья опять стала семьей. Или почти стала.

Дэвид снова ночевал в супружеской спальне. Но между ним и Гарриет появилась дистанция. Дэвид задал ее и сохранял из-за того, что Гарриет так жестоко его обидела. Она это понимала. Гарриет сообщила мужу, что принимает пилюли: для обоих это был грустный момент, ведь при том, какими они были прежде, за что стояли когда-то, было немыслимо, чтобы Гарриет принимала контрацептивы. Они считали глубоко неправильным так вмешиваться в природные процессы. Природа... они вспомнили теперь, как некогда верили в то, что везде по возможности надо полагаться на Природу.

Гарриет позвонила Дороти и спросила, не приедет ли та на неделю, а потом упросила Дэвида поехать куда-нибудь вместе в отпуск. Они не оставались наедине ни разу с тех пор, как родился Люк. Они уехали в тихий деревенский отель, много гуляли, заботились друг о друге. Душа болела у обоих; но теперь уже они чувствовали, что им придется с этим жить. Иногда, особенно в самые счастливые моменты, глаза у них невольно наполнялись слезами. Но по ночам, когда Гарриет лежала в объятиях мужа, она понимала, что это уже не по-настоящему, не так, как у них было прежде.

Раз она сказала:

— Что, если мы сделаем, что говорили, — я имею в виду, заведем еще детей?

И почувствовала, как напряглось его тело, почувствовала, что он злится.

— То есть будто ничего не случилось? — спросил он наконец, и Гарриет поняла, что ему любопытно услышать ответ: он не верил своим ушам!

— Второй Бен не появится — с чего?

— Дело не во втором Бене, — произнес Дэвид, помолчав; он старался говорить без эмоций, потому что злился.

Дэвид готов попрекнуть ее именно тем, в чем она не хотела себе признаваться, во всяком случае — признаваться до конца: спасая Бена, она нанесла смертельную рану семье.

Она настаивала:

— Мы могли бы иметь еще детей.

— А четверо тех, что есть, не в счет?

— Может быть, это снова сблизило бы нас, жизнь стала бы лучше...

Дэвид молчал, и на фоне молчания ей было слышно, как фальшиво звучат ее слова.

Наконец он спросил, все тем же бесцветным голосом:

— А как же Пол? — потому что именно Полу оказалось тяжелее всего.

— Наверное, он как-нибудь оправится, — безнадежно сказала Гарриет.

— Он не оправится, Гарриет. — Теперь голос Дэвида дрожал от тех эмоций, которые он старался подавить.

Гарриет отвернулась и заплакала.

Перед летними каникулами Гарриет разослала всем осторожные письма, объясняя, что Бен редко бывает дома. Занимаясь этим, она чувствовала себя подлой изменницей: но перед кем?

Кое-кто приехал. Но не Молли и не Фредерик, которые не простили ей возвращения Бена; Гарриет знала, они этого никогда не простят. Сестра Сара приехала с Эми и с Дороти, которая стала для Эми опорой в этом мире. Но сестры и братья Эми поехали к другим кузенам, в дом Анджелы, и младшие Ловатты знали, что это Бен лишил их компании на лето. Ненадолго приезжала Дебора. С тех пор как они видели ее в последний раз, она успела выйти замуж и развестись. Это была резкая, изящная, все более остроумная и отчаянная девица, добрая тетя для детей, неопытная и порывистая, она дарила им неподходящие и слишком дорогие подарки. Был Джеймс. Он несколько раз сказал, что дом похож на большой фруктовый пирог, но это была простая любезность. Был кое-кто из ничем не занятых взрослых кузенов да один коллега Дэвида.

А где же Бен? Как-то Гарриет делала покупки в городе и, услышав за спиной рев мотоцикла, обернулась и увидела эдакого жокея космической эры, низко склонившегося к рулю, — по-видимому, это

был Джон, — а сзади него — крепко вцепившегося ребенка-карлика: увидела своего сына Бена, широко открывшего рот в какой-то словно бы ликующей песне или вопле. В экстазе. Таким она никогда его не видела. Счастливый? Подходит ли это слово?

Она узнала, что он стал баловнем или талисманом этой молодежной шайки. Они обращались с ним грубо, даже, показалось Гарриет, недобро, звали его Гномик, Чудик, Чужой-два, Хоббит и Гремлин. «Эй, Чудик, уйди с дороги». «Поди отнеси Джеку сигарету, Хоббит». Но он был счастлив. Каждое утро он сидел у окна, дожидаясь, что кто-то из них приедет и заберет его; если они подводили, звонили сказать, что сегодня не получится, Бен тосковал и бесился, слонялся по дому с громким топотом и мычанием.

Все это стоило немалых денег. Джон и его шайка неплохо проводили время за счет Ловаттов. И теперь уже не только за счет Джеймса, деда Бена, — Дэвид брался за любую дополнительную работу. Деньги они выжимали, не стесняясь.

— Если хотите, мы свозим Бена на море.

— О, отлично, это было бы здорово.

— Тогда нужно двадцать фунтов — бензин, понимаете.

И ревущие машины с парнями и девушками понеслись на побережье, и где-то там же был Бен. Когда они вернули его:

— Это стоило больше, чем мы думали.

— Сколько нужно?

— Еще десять.

— Это хорошо для него, — говорил кто-нибудь из кузенов, услышав, что Бена возили на море, как будто это самая обычная вещь — чтобы маленького мальчика вот так возили поразвлечься.

Бен приходил после безмятежного и радостного дня с Джоном и его друзьями, которые дразнили и шпыняли его, но зато не гнали,

останавливался у стола, за которым сидела его семья — все смотрели на него, лица хмурые и настороженные.

— Дайте хлеба, — говорил он. — Дайте печенья.

— Сядь, Бен, — говорил Люк, или Хелен, или Джейн (но Пол — никогда) терпеливым и добрым тоном, которым они всегда разговаривали с Беном, к огорчению Гарриет.

Он живо карабкался на стул и настраивался быть таким, как они. Он знал, например, что нельзя говорить с полным ртом или жевать с открытым. Он строго следовал этим правилам; энергичные, как у зверя, движения челюстей обуздывал сомкнутыми губами и ждал, пока рот освободится, прежде чем сказать:

— Бен уже сыт. Бен хочет пойти спать.

Он больше не занимал «комнату малыша», а спал в ближайшей к родителям несмежной спальне. («Комната малыша» стояла пустой.) Запирать его на ночь они не могли: от скрежета ключа и лязга засова Бен раздражался воплями, впадал в ярость. Но остальные дети, укладываясь спать, потихоньку запирались изнутри. Это значило, что Гарриет, перед тем как самой лечь в постель, не могла к ним войти посмотреть, как они спят, не больны ли. Ей не хотелось просить их не закрываться, не хотелось устраивать целое дело, вызывая слесаря и врезая новые замки, которые взрослый может открыть ключом снаружи. Из-за привычки детей запирались она чувствовала себя отвергнутой ими, исключенной, навсегда оставленной за дверью. Бывало, она подходила тихонько к какой-нибудь двери и шепотом просила открыть, ее впускали, и тут начинался маленький праздник объятий и поцелуев. Но они не забывали о Бене, который мог войти... и несколько раз он и вправду приходил и молча стоял в дверях, наблюдая сцену, которой не мог понять.

Гарриет хотелось бы запирать и свою дверь. Дэвид, стараясь пошутить, сказал, что, наверное, когда-нибудь придется запереться и им. Не раз она просыпалась и обнаруживала Бена, который стоял в полутьме спальни и глазел на них. Тени сада шевелились на потолке, объемы просторной комнаты перетекали в неизвестность, и там стоял этот

ребенок-гоблин — силуэт во мраке. Его гнетущий нечеловеческий взгляд проникал в сон Гарриет и будил ее.

— Иди спать, Бен, — мягко говорила она Бену, умеряя тон из-за сильного страха, который накатывал на нее.

Что он думал, когда стоял там и смотрел на них, спящих? Хотел ли причинить им зло? Чувствовал ли горечь, которую Гарриет и приблизительно не могла бы представить, оттого, что ему никогда не будет хода в обычность этого дома и его обитателей? Может, он хотел обхватить ее руками, как другие дети, да только не знал как? Но когда она обнимала его, от него не было никакого ответа, никакого тепла; будто он не чувствовал ее прикосновений.

Но, в конце концов, он проводил дома совсем мало времени.

— У нас уже почти все наладилось, — сказала она как-то Дэвиду. С надеждой. Изо всех сил желая, чтобы Дэвид согласился. Но он только кивнул и не посмотрел на нее.

Впрочем, два года перед тем, как Бену пойти в школу, были не так уж плохи: потом Гарриет вспоминала их с благодарностью.

В тот год, когда Бену исполнилось пять, Люк и Хелен объявили, что хотят учиться в школе-пансионе. Им было тринадцать и одиннадцать. Конечно, это шло вразрез со всем тем, во что верили Дэвид и Гарриет. Они так и сказали — и сказали еще, что не смогут за это платить. Но и здесь родителям вновь пришлось увидеть, насколько дети все понимают, как все обсуждают и планируют — и потом действуют. Люк уже написал дедушке Джеймсу, Хелен — бабушке Молли. Их учебу оплатят.

Люк сказал в своей рассудительной манере:

— Они согласны, что так будет лучше для нас. Мы понимаем, что вы ничего не можете поделать, но нам не нравится Бен.

Это случилось вскоре после того, как однажды утром Гарриет, а следом за ней Люк и Хелен, Джейн и Пол спустились в гостиную и увидели, что Бен сидит на корточках на большом столе и держит сырую курицу, которую достал из холодильника, а холодильник стоит открытым, и его

содержимое разбросано по всему полу. Бен разграбил его в каком-то жестоком припадке, которого не смог сдержать. Урча от удовольствия, он рвал сырую курицу руками и зубами, в нем билась первобытная сила. Поверх наполовину раскромсанной и разломанной тушки он поглядел на Гарриет, на своих братьев и сестер и зарычал. Энергия в нем угасла на глазах, лишь только Гарриет выбранила:

— *Плохой Бен!* — И он заставил себя встать прямо, потом спрыгнул со стола и приблизился к Гарриет с болтающимися в одной руке останками тушки.

— Бедный Бен голодный, — захныкал он.

С некоторых пор он стал звать себя Бедный Бен. Может, он услышал это от кого-то? Может, кто-то из той компании юнцов или из их подружек сказал: «Бедный Бен!», а он понял, что это ему подходит? Может, он так себя воспринимал? Если да, то это было окошко в Бена, скрытого от них, и от этого сжималось сердце — вернее, сердце Гарриет.

Дети никак не комментировали происшествие. Они сели вокруг стола завтракать и смотрели только друг на друга, но не на мать и не на Бена.

Не отдавать Бена в школу не было никакой возможности. Гарриет давно перестала читать ему, играть с ним или чему-нибудь учить: он не мог ничего усвоить. Но она понимала, что официально этого никто не признает, а если и признает, никогда не объявит об этом. Ей скажут, и по праву, что Бен знает много всего такого, что делает его до какой-то степени приемлемым членом общества. Он знает правила. «Зеленый свет — иди. Красный — стой». Или: «Полпорции чипсов — половина цены большой порции чипсов». Или: «Закрой дверь, на улице холодно». Он монотонно бубнил эти истины, усвоенные, видимо, от Джона, глядя на Гарриет в ожидании подтверждения. «Ешь ложкой, а не руками!» «На поворотах держись крепче». Бывало, Гарриет слышала, как он распевал эти лозунги вечером в постели, думая о радостях предстоящего дня.

Когда ему сказали, что надо будет ходить в школу, он сказал, что не станет. Гарриет объяснила, что по-другому не бывает и в школу ходить придется. Но по выходным и все каникулы он сможет гулять с Джоном.

Буйство. Ярость. Отчаяние. Рев: «Нет! Нет! Нет!», разносящийся по всему дому.

Вызвали Джона; он пришел на кухню с тремя членами своей шайки. Наученный Гарриет, Джон обратился к Бену:

— Послушай, чувак. Слушай, что мы тебе скажем. Тебе надо ходить в школу.

— Ты там будешь? — спросил Бен, стоя у колена Джона, доверчиво заглядывая ему в лицо. Вроде бы и поза, и черты маленького лица Бена показывали, что он верит Джону, но его глаза словно запали от испуга.

— Нет. Но я там был. Когда было надо.

Тут все четверо рассмеялись, потому что, конечно, все они прогуливали уроки, как делают подобные парни. Школа была им ни к чему.

— Я ходил в школу. И Роуленд вот ходил. Барри и Генри ходили.

— Точно, точно, — подтвердили приятели, исполняя свою роль.

— И я ходила в школу, — сказала Гарриет.

Но Бен не услышал ее: она была не в счет.

В конце концов договорились, что по утрам Гарриет будет отвозить Бена в школу, а Джону придется забирать его. Время между окончанием уроков и постелью Бен будет проводить с компанией.

Ради семьи, думала Гарриет, ради детей... ради меня и Дэвида. Но Дэвид, как она замечала, возвращался с работы все позже и позже.

Тем временем семья — как это чувствовала да и видела Гарриет — развалилась. Люк и Хелен разъехались по своим школам. Дома остались Джейн и Пол, которые ходили в ту же школу, что и Бен, но, поскольку они старше, вряд ли часто видели Бена. Джейн росла благоразумной, спокойной и основательной девочкой, способной о себе позаботиться так же, как Люк или Хелен. Она редко шла из школы прямо домой, чаще отправлялась к подругам. Пол приходил домой. Он оставался один с Гарриет, и казалось, что этого он и хотел, в этом

нуждался. Пол был требовательный, надоедливый, обидчивый ребенок, часто плакал. Куда девался тот очаровательный, прелестный мальчик, ее Пол, часто удивлялась Гарриет, когда он ныл или хныкал, нескладный шестилетка с большими добрыми голубыми глазами, которые часто подолгу смотрят в никуда или кажутся недовольными тем, что сейчас видят. Он был совсем тощий. Никогда не ел как следует. Гарриет приводила его из школы и пыталась усадить и накормить или садилась сама рядом и читала или рассказывала ему что-нибудь. Он не умел сосредоточиться. Все время бродил по дому, мечтал; подходил к Гарриет, чтобы потрогать ее или забраться на руки, как малыш; никогда не был мирным, спокойным или довольным.

В самый нужный период у него не было матери, и в этом была его беда, все это понимали.

Он мог разрыдаться, едва услышав мотор машины, которая привезла Бена, или начать биться головой о стену в отчаянии.

Бен пробыл в школе месяц — за это время не было никаких неприятных новостей, и Гарриет спросила учительницу, как у него дела. К своему удивлению, она услышала:

— Он славный мальчуган. Очень старательный.

Ближе к концу первого триместра Гарриет телефонным звонком вызвала к себе миссис Грейвз, директор школы.

— Миссис Ловатт, я не знаю, как вы...

Деловая женщина, она знала, что творится в ее школе, и знала Гарриет как ответственную родительницу Люка, Хелен, Джейн и Пола.

— Мы все в растерянности, — сказала она, — Бен действительно очень старается. Похоже, он не может угнаться за другими. Здесь трудно как-то влиять.

Гарриет ждала — понимая, что за короткую жизнь Бена ждала этого слишком часто, — какого-то признания, что дело не только в трудностях приспособления.

— Он всегда был странным, — заметила Гарриет.

— Чужак в собственной семье? Ну да, так бывает, я не раз с этим встречалась, — сказала любезная миссис Грейвз.

И пока продолжался этот поверхностный разговор, сверхчувствительная Гарриет прислушивалась к другому, параллельному разговору, к которому вынуждало само существование Бена.

— Эти молодые люди, которые забирают Бена, необычное дело, — улыбнулась мисс Грейвз.

— Он необычный ребенок, — сказала Гарриет, твердо глядя на директрису, которая кивнула, отводя глаза.

Миссис Грейвз хмурилась, будто ее донимала, требуя внимания, какая-то надоедливая мысль, но та не была расположена ею заняться.

— Вы когда-нибудь видели таких детей, как Бен? — спросила Гарриет.

Она рисковала услышать в ответ: «Что вы имеете в виду, миссис Ловатт?» И миссис Грейвз на самом деле спросила:

— Что вы имеете в виду, миссис Ловатт? — но спросила торопливо и тут же, чтобы не дать Гарриет ответить, сама отменила вопрос: — Вероятно, то, что он гиперактивный? Да, я вижу, что это слово мало что объясняет. То, что ребенок гиперактивный, — много ли этим сказано? Но у Бена необычайно много энергии. Он не может долго усидеть на месте — что ж, многие дети не могут. Учительнице он показался толковым мальчиком, потому что старался, но теперь она говорит, что ей приходится тратить на Бена больше сил, чем на всех остальных, вместе взятых... Словом, миссис Ловатт, я рада, что вы пришли, вы нам помогли.

Выходя, Гарриет знала, каким взглядом провожает ее директриса — долгим, тревожным, изучающим взглядом, с затаенным напряжением, даже испугом, которые были частью «другого разговора» — настоящего.

В конце второго триместра ей позвонили: не может ли она приехать сейчас же? Бен кого-то поранил.

Вот оно: то, чего она боялась. На игровой площадке Бен вдруг взбесился и напал на девочку старше себя. Он дернул ее так, что та рухнула на асфальт, разбив и ободрав колени. Потом укусил и до этого выкрутил руку так, что сломал ее.

— Я говорила с Беном, — сказала миссис Грейвз. — Похоже, он ничуть не раскаивается. И даже можно подумать, что он и не помнит, что натворил. Но в его возрасте — в конце концов, ему уже шесть — он должен понимать, что делает.

Гарриет отвезла Бена домой, Пола оставила, чтобы приехать за ним позже. А ведь именно Пола ей хотелось забрать: он слышал о происшествии и был в истерике, вопил, что Бен и его тоже убьет. Но Гарриет нужно было остаться с Беном с глазу на глаз.

Бен сидел на кухонном столе, болтая ногами, ел хлеб с джемом. Он спросил, приедет ли Джон забрать его. Джон — вот кто был ему нужен.

Гарриет сказала:

— Сегодня ты покалечил бедную Мэри Джонс. Зачем ты это сделал, Бен?

Он как будто не слышал — отрывал зубами большие куски хлеба и торопился проглотить.

Гарриет села рядом, чтобы он был вынужден ее слушать, и сказала:

— Бен, ты помнишь то место, куда тебя увезли в фургоне?

Он напрягся. Медленно повернул голову и посмотрел на мать. Хлеб в его руке дрожал, Бен дрожал весь. Он помнил, еще бы! Раньше она никогда не делала этого — и надеялась, что никогда не придется.

— Ну, так ты *помнишь*, Бен?

Глаза у него стали дикие; вот-вот прыгнет со стола и убежит. Он и хотел, но только свирепо озирался — по углам, на окно, на лестницу, как будто оттуда на него могли наброситься.

— Слушай меня, Бен. Если ты еще когда-нибудь, *когда-нибудь* кого-нибудь тронешь, тебя придется отправить обратно.

Она смотрела ему в глаза и надеялась, что он не сможет понять, что про себя она говорит: «Но я ни за что не отправлю его обратно, ни за что».

Он сидел и дрожал, как мокрый замерзший пес, судорожно; бессознательно совершил ряд движений — остаточные реакции из того времени. Рука поднялась и закрыла лицо, и он смотрел сквозь растопыренные пальцы, будто ладонь могла защитить; потом рука опустилась, он резко отвернул голову, другой рукой закрыл рот тыльной стороной ладони, в ужасе смотрел поверх руки, на миг оскалил зубы, чтобы зарычать, — но сдержался; вскинул подбородок, рот открыт, и Гарриет показалось, что он как будто испустил долгий звериный вой. Она почти услышала этот вой, его одинокий ужас...

— Ты слышал меня, Бен? — мягко спросила она.

Он скользнул со стола и тяжело протопал вверх по лестнице. Оставляя за собой ручеек мочи. Гарриет услышала, как захлопнулась его дверь, а потом — вопль гнева и страха, которого он уже не сдерживал.

Она позвонила Джону в забегаловку Бетти. Тот приехал тут же, один, как она просила.

Джон выслушал ее рассказ и поднялся к Бену в комнату. Гарриет осталась за дверью и слушала.

— Ты не знаешь своей силы, Хоббит, вот в чем беда. Нельзя калечить людей.

— Ты сердишься на Бена? Ты покалечишь Бена?

— Да кто сердится? — сказал Джон. — Но если ты будешь бить людей, тебя самого побьют.

— Мэри Джонс меня побьет?

Молчание. Джон не нашелся что сказать.

— Возьми меня с собой в кафешку? Забери меня, забери меня сейчас.

Гарриет слышала, как Джон ищет пару чистых брюк и уговаривает Бена их надеть. Она пошла вниз на кухню. Джон спустился с Беном, который

вцепился в его руку. Джон подмигнул ей и показал большой палец. Они с Беном умчались на мотоцикле. Гарриет поехала забирать Пола.

Когда Гарриет просила доктора Бретта устроить прием у специалиста, она сказала:

— Пожалуйста, не считайте меня истеричной идиоткой.

Она повезла Бена в Лондон. И вручила заботам медсестры доктора Джилли. Эта врач всегда сначала осматривала ребенка без родителей. Это показалось Гарриет разумным. Может, она умна, эта врач, думала Гарриет, сидя в одиночестве в маленьком кафе с чашкой кофе, а потом подумала: а что мне от этого? На что я опять надеюсь? Гарриет решила, что хочет только, чтобы кто-нибудь наконец произнес верные слова, разделил ее бремя. Нет, она не ждет, что ее освободят, и не надеется на большие перемены. Она хочет только, чтобы ее поняли, признали ее трудное положение.

Что ж, было ли это возможно? Разрываясь между горячей надеждой на понимание и циничным *«Да ладно, на что ты рассчитываешь!»*, она вернулась и обнаружила Бена с медсестрой в маленькой комнатке рядом с приемной. Прижавшись спиной к стене, Бен следил за каждым движением медсестры, как настороженное животное. Увидев мать, он бросился к ней и спрятался у нее за спиной.

— Ну же, Бен, — язвительно сказала медсестра. — *Это* совсем ни к чему.

Гарриет велела Бену сесть и дожидаться ее: она скоро вернется. Бен встал позади стула и стоял начеку, не сводя глаз с медсестры.

И вот Гарриет сидит напротив искушенной женщины-профессионала, которой сказали — Гарриет в этом не сомневалась, — что пациентка — неразумная тревожная мамаша, которая не может справиться со своим пятым ребенком.

Доктор Джилли сказала:

— Я сразу перейду к сути дела, миссис Ловатт. Проблема не в Бене, а в вас. Вы не слишком любите его.

— *О господи!* — вспылила Гарриет. — Опять!

Голос у нее был брюзгливый, плаксивый. Гарриет смотрела, как доктор Джилли записывает ее реакцию.

— Вам это сказал доктор Бретт, — продолжила Гарриет. — А теперь вы повторяете.

— Ладно, миссис Ловатт, вы скажете, что это неправда? Должна заметить, что, во-первых, это не ваша вина, и, во-вторых, это не редкость. Мы не можем выбрать, что нам выпадет в лотерее — так и с зачатием детей. К счастью или к несчастью, мы не можем выбирать. И прежде всего вы не должны себя винить.

— Я не виню себя, — сказала Гарриет. — Хотя и не думаю, что вы мне поверите. Но это дурная шутка. С тех пор как родился Бен, я постоянно чувствую, что меня в этом винят. Я чувствую себя преступницей. Меня все время заставляют думать, что я преступница.

В этой жалобе — надрывной, но Гарриет уже не могла изменить тон — изливались годы ее страданий. Доктор Джилли сидела, опустив взгляд.

— Поистине удивительно! Никто ни разу не сказал мне, никто, никогда: «Какая вы умница, что родили четырех великолепных, нормальных, умных, симпатичных детей! Это такой подвиг. Вы молодец, Гарриет!» Не кажется ли вам странным, что никто ни разу не сказал так? Но с Беном — я преступница!

Не спеша проанализировав слова Гарриет, доктор Джилли спросила:

— Вас возмущает тот факт, что Бен не умен, верно?

— *Господи,* — воскликнула Гарриет свирепо. — Да что ж такое!

Две женщины пристально посмотрели друг на друга. Гарриет вздохнула, давая своей ярости утихнуть; доктор сердилась, но не показывала этого.

— Скажите, — продолжила Гарриет, — вы считаете, что Бен во всех отношениях совершенно нормальный ребенок? В нем нет ничего странного?

— Он в пределах нормы. Как мне сказали, он не очень хорошо успевает в школе, но отстающие дети часто наверстывают позже.

— Не могу поверить, — сказала Гарриет. — Слушайте, ну сделайте хоть что-то, ну окажите мне услугу! Попросите сестру привести его.

Доктор Джилли подумала, потом сказала несколько слов в селектор.

Они слышали вопли Бена: «Нет, нет!» — и увещевания сестры.

Дверь отворилась. Появился Бен: медсестра подталкивала его в комнату. Дверь закрылась за ним, и Бен прижался к ней спиной, сверкая глазами.

Стоял, выставив плечи вперед, согнув колени, будто собирался куда-то прыгнуть. Маленькая, плотная и коренастая фигура с большой головой, желтая щетка жестких волос, что росли от двойной макушки, спускаясь низко по тяжелому узкому лбу. Плоский, расширяющийся книзу нос со вздернутым кончиком. Мясистые и изогнутые губы. Глаза как два тусклых камня. И в первый раз Гарриет подумала: ведь он не выглядит как шестилетний ребенок, он будто намного старше. Его даже можно было бы принять за маленького мужчину, совсем не ребенка.

Доктор Джилли смотрела на Бена. Гарриет наблюдала за обоими. Потом доктор сказала:

— Ладно, Бен, теперь выйди. Мама придет к тебе через минуту.

Бен стоял окаменев. Доктор Джилли снова включила связь, открылась дверь, и Бена утащили за порог; он рычал.

— Скажите мне, доктор Джилли, кого вы видели?

Доктор Джилли приняла подозрительную обиженную позу; она подсчитывала, сколько времени осталось до конца беседы. И не отвечала.

Гарриет сказала, понимая, что все бесполезно, — только потому, что хотела, чтобы это было сказано и услышано:

— Ведь он не человек, так?

Неожиданно доктор Джилли дала выход тому, что думала. Она выпрямилась, тяжело вздохнула, закрыла лицо ладонями и провела ими вниз и так сидела, закрыв глаза, кончики пальцев на губах. Это была красивая женщина средних лет, которая умела распоряжаться собственной жизнью, но на мгновение в ней промелькнуло несертифицированное и незаконное страдание, и она стала будто немного не в себе, даже как будто пьяна.

Потом она решила отречься от того, в чем Гарриет увидела момент истины. Доктор уронила руки и шутливо спросила:

— Инопланетянин? Из космоса?

— Нет. Ведь вы же *видели* его, да? Как знать, какие породы людей — то есть расы — существ, не похожих на нас, когда-то жили на этой планете? В прошлом, понимаете? Ведь мы этого не знаем, правда? Откуда известно, что гномы, эльфы и гоблины и все прочие не жили тут на самом деле? Не потому ли о них рассказывают легенды? Они в самом деле существовали когда-то... Ну, как мы можем знать, что их не было?

— Вы думаете, Бен — атавизм? — спросила доктор Джилли серьезно. Таким голосом, будто как следует приготовилась обдумать эту мысль.

— Мне это кажется очевидным, — сказала Гарриет.

Снова пауза, доктор Джилли рассматривала свои ухоженные руки. Потом вздохнула. Подняла взгляд и посмотрела в глаза Гарриет: «Если это так, что я, по-вашему, должна делать?»

Гарриет не сдавалась:

— Я хочу, чтобы это было *сказано*. Чтобы это признали. Мне просто невыносимо, что этого никто никогда не скажет.

— Вы понимаете, что это просто не в моей компетенции? То есть — даже если это правда. Вы что, хотите, чтобы я дала вам письмо в зоопарк: «Посадите этого ребенка в клетку»? Или отдала его на опыты?

— Господи, — сказала Гарриет, — нет, конечно. Нет.

Повисла пауза.

— Благодарю вас, доктор Джилли, — сказала Гарриет, завершая беседу традиционной формулой. Она поднялась. — Вы сочтете возможным выписать мне по-настоящему сильное успокоительное? Бывают моменты, когда я не могу справиться с Беном, и мне нужно какое-то средство.

Доктор написала что-то. Гарриет взяла листок. Поблагодарила. Попрощалась. Пошла к дверям и оглянулась. На лице доктора она увидела то, что ожидала: в остановившемся мрачном взгляде отразились чувства этой женщины — ужас перед нечеловеческим, нормальное неприятие того, что лежит за границами человеческой природы. Ужас перед Гарриет, породившей этого Бена.

Бен был в маленькой комнате: забился в угол, не моргая таращился на дверь, из которой вышла Гарриет. Дрожал. Люди в белом, белые халаты, комната, где пахнет лекарствами... Гарриет поняла, что, сама того не желая, разбудила его страхи. Если будешь плохо себя вести, тогда...

Он покорился. Жался к Гарриет; нет, не как ребенок к матери, а как испуганный пес.

С тех пор каждое утро Гарриет давала Бену дозу успокоительного, которое, впрочем, почти не действовало на него. Но Гарриет надеялась, что таблетки затормозят его хотя бы до окончания занятий, пока он не рванет с Джоном на мотоцикле.

Вскоре окончился первый год пребывания Бена в школе. Это означало, что они все могли жить по-прежнему, делая вид, что ничего особенно плохого не происходит, Бен — просто «трудный ребенок». Он ничему не учится — ну так масса детей ничему не учится: они отбывают время в школе, и все.

Под Рождество Люк написал, что хочет поехать к бабушке с дедушкой, которые были где-то у южных берегов Испании; а Хелен отправилась в Оксфорд, в гости к бабушке Молли.

Дороти приехала на Рождество, всего на три дня. И забрала с собой Джейн: та обожала маленького больного ребенка, монголочку Эми.

Бен все время проводил с Джоном. Гарриет и Дэвид — если был дома, но он работал все больше и больше — все рождественские каникулы провели с Полом. Тот был еще более трудным, чем Бен. Но он был нормальный «проблемный ребенок», а не йети.

Пол проводил часы перед телевизором. Он прятался в нем, смотрел беспокойно, все время двигался и ел, ел — но никогда не прибавлял в весе. Казалось, в нем сидит какая-то ненасытная прорва, которая требует: есть, есть! Он томился чем-то — но чем? Объятия матери не успокаивали его. Войны и мятежи, душегубство и разбои; убийства, воровство, похищения людей... Восьмидесятые, дикие восьмидесятые вступали в свои права, и Пол лежал, распростершись перед телевизором, или слонялся по комнате, жуя и глядя на экран — насыщаясь. Так это выглядело.

Образ жизни семьи установился, а значит, ее будущее тоже.

Люк стал ездить на каникулы к деду Джеймсу, с которым он так хорошо ладил. Он любил и бабушку Джесси, с которой, он говорил, было всегда весело. С теткой Деборой было весело тоже: ее матримониальные усилия и провалы были долгоиграющим сериалом в комическом ключе. Люк жил среди богатых и преуспевал; время от времени Джеймс привозил его домой в гости к родителям, ведь этот добрый человек был удручен тем, что творилось в несчастливом доме Дэвида и Гарриет, и знал, что родители тоскуют по своему первенцу. Они ездили к нему в школу на «спортивные дни», а Люк иногда приезжал домой на короткие каникулы в середине триместра.

Хелен была счастлива в доме Молли. Она жила в комнате, которая когда-то стала истинным домом ее отца. Хелен была любимицей старого Фредерика. Она тоже иногда приезжала на мини-каникулы.

Джейн упростила Дороти приехать поговорить с Дэвидом и Гарриет — она хотела жить с Дороти и тетей Сарой, бедняжкой Эми и тремя здоровыми кузинами и кузенами. Так и поступили. Дороти время от времени привозила Джейн, и тогда родители понимали, что Дороти «поговорила» с Джейн, чтобы она была добра с родителями и никогда, никогда не осуждала Бена.

Пол оставался дома, он проводил здесь куда больше времени, чем Бен.

Дэвид спрашивал Гарриет:

— Что мы будем делать с Полом?

— А что мы можем?

— Его нужно как-то лечить. Психиатр...

— Что хорошего из этого может выйти!

— Он совсем не учится, полная кулема. Хуже, чем Бен! Бен, в конце концов, именно тот, кто он есть, кем бы он ни был, хоть не думаю, что мне хочется это узнать. Но Пол...

— А из чего мы будем за это платить?

— Я заплачу.

К своей и без того тяжелой нагрузке на работе Дэвид добавил работу по совместительству — преподавал в колледже — и почти не бывал дома. Если он приходил домой на неделе, то лишь поздним вечером, падал в кровать и сразу засыпал, обессиленный.

Пола отправили, как говорится, «кое с кем побеседовать».

Он ходил туда почти каждый день после уроков. Дело пошло. Психиатром был мужчина сорока лет, с семьей и замечательным домом. Пол оставался там на ужин и даже приходил играть с детьми, когда у него не было сеанса терапии.

Бывало, на целый день Гарриет оставалась одна в огромном доме, пока около семи не возвращался Пол, который шел смотреть телевизор, а потом и Бен, который тоже смотрел телевизор, но по-своему. Его внимание мог привлечь любой момент, без всякой понятной Гарриет закономерности, и обычно только на пару минут.

Эти двое ненавидели друг друга.

Раз Гарриет застала их на кухне: Пол в углу, вытянулся на цыпочках, пытаясь уклониться от рук Бена, протянувшихся к его горлу. Приземистый мощный Бен, высокий тонкий Пол — Бен мог убить его, если бы захотел. Гарриет показалось, он хотел только его напугать, но с

Полом случилась истерика. Бен мстительно скалился, торжествуя победу.

— Бен, — сказала Гарриет, — Бен, *назад*. — Будто собаке, предупреждая. — *Назад*, Бен, *назад*.

Он резко обернулся, увидел ее, опустил руки. Она вложила в свой взгляд угрозу, к которой прибегала раньше, свою власть над ним: его память о прошлом.

Он оскалил зубы и зарычал.

Пол завизжал, высвобождая весь свой страх. Взбежал по лестнице, поскальзываясь и падая, спасаясь от ужаса, которым был Бен.

— *Если ты еще раз так сделаешь...* — пригрозила Гарриет.

Бен медленно пошел и сел к большому столу. Как ей казалось, он раздумывал.

— Если ты еще раз так сделаешь, Бен...

Он поднял глаза, посмотрел на нее. Она видела, что он что-то прикидывает. Но что? Холодные нечеловеческие глаза. Что он видит? Людям кажется, что Бен видит то же, что и они, что он видит мир людей. Но может быть, чувства его воспринимают совсем иные предметы и факты. Как узнать? Что он думает? Каким видит себя?

— Бедный Бен. — Он и теперь иногда так говорил.

Дэвиду Гарриет об этом происшествии не сказала. Она знала, что Дэвид уже на пределе терпения. И что бы она могла сказать? «Сегодня Бен пытался убить Пола»? Это было выше того, с чем они согласились мириться, за гранью дозволенного. Кроме того, Гарриет не верилось, что Бен пытался убить Пола: он показывал, что может сделать, если захочет.

Она сказала Полу, что Бен ни в коем случае не собирался нападать, только напугать. Ей показалось, что Пол поверил.

За два года до того, как Бен должен был закончить начальную школу, где он ничему не учился, но, по крайней мере, никого не покалечил,

Джон пришел сказать, что исчезает из жизни Ловаттов. Ему предложили учиться в Манчестере — профессиональное обучение. Ему и троим из его друзей.

Бен был тут, слушал. Джон уже сказал ему, в закусочной «У Бетти». Но Бен еще не осознал всего. Джон специально пришел сообщить Гарриет при Бене, чтобы тот легче смирился.

— Почему мне нельзя тоже поехать? — потребовал Бен.

— Потому что нельзя, мужик. Но когда я буду приезжать в гости к матери с отцом, я буду тебя навещать.

Бен заупрямился:

— Но почему мне нельзя поехать с тобой?

— Потому что я тоже буду в школе. Не здесь. Я буду далеко. Понимаешь, очень далеко.

Бен напрягся. Сгорбился — жестко, выставив кулаки. Стиснул зубы, взгляд недобрый.

— Бен, — сказала Гарриет своим особым тоном. — Бен, перестань.

— Ладно тебе, Хоббит, — сказал Джон смущенно, но дружелюбно. — Тут ничего не поделаешь. Когда-то мне придется уехать из дому, так ведь?

— А Барри едет? Роуленд едет? А Генри?

— Да, мы все четверо.

Бен вдруг ринулся в сад и стал пинать ствол дерева, визжа от ярости.

— Хоть дерево, а не меня, — сказал Джон.

— И не меня, — сказала Гарриет.

— Извините, — сказал Джон. — Так уж вышло.

— Не представляю, что бы мы делали без тебя, — сказала Гарриет.

Он кивнул, зная, что это правда. Так Джон исчез из жизни Ловаттов — навсегда. Бен проводил с ним почти каждый свой день с тех пор, как его спасли из учреждения.

Он тяжело перенес разлуку. Сначала не верил. Приезжая в школу забрать Бена, иногда вместе с Полом, Гарриет находила его у школьных ворот — он глядел на дорогу, откуда раньше появлялся во всем великолепии Джон на мотоцикле. Нехотя Бен садился в машину на заднее сиденье, в угол, подальше от Пола, если Пол был не у психиатра, а глаза Бена обшаривали улицу в поисках следов потерянных друзей. Когда его не было нигде в доме, Гарриет не раз отыскивала его в закусочной Бетти — он одиноко сидел за столиком, не спуская глаз с двери, откуда могли бы появиться друзья. Однажды утром в городе у витрины магазина стоял кто-то из мелких участников шайки Джона, и Бен, гукая от восторга, рванулся к нему, но парень бросил небрежно:

— О, Кретин. Здорово, чудик, — и отвернулся. Бен замер, не веря, рот открыт, будто его только что ударили в зубы. Прошло много времени, пока он понял. Едва приехав с Гарриет и Полом домой, он тут же исчезал — убегал в центр города. Гарриет не бежала за ним. Он вернется! Ему больше некуда идти; к тому же ей всегда было приятно побыть с Полом — если Пол был дома.

Однажды Бен вбежал в дом, как всегда, тяжело топая, и нырнул под большой стол. Появилась женщина-полицейский и спросила Гарриет:

— Где ребенок? С ним все нормально?

— Он под столом, — ответила Гарриет.

— Под сто... Но зачем? Я только хотела убедиться, что он не потерялся. Сколько ему?

— Больше, чем кажется, — сказала Гарриет. — Вылезай, Бен, все нормально.

Он не вылез: на четвереньках, головой туда, где стояла женщина-полицейский, он следил за ее начищенными блестящими черными туфлями. Он помнил, как однажды кто-то на машине схватил его и увез: форменная одежда, казенная атмосфера.

— Ладно, — сказала женщина. — Подумают еще, что я краду детей. Но ему нельзя вот так бегать. Его могут и вправду похитить.

— И не надейтесь, — сказала Гарриет, каждой частичкой своей — жизнерадостная ловкая мамаша. — Скорее он кого-нибудь похитит.

— А, вот так?

И женщина-полицейский, смеясь, удалилась.

Дэвид и Гарриет лежали рядом в супружеской постели, свет потушен, в доме тишина. Через две комнаты спал — они надеялись — Бен. Через четыре комнаты, в конце коридора, за запертой изнутри дверью спал Пол. Было поздно, Гарриет знала, что Дэвид заснет через минуту-другую. Они лежали на расстоянии друг от друга. Но место между ними больше не было заполнено злостью. Гарриет знала, что Дэвид все время слишком устает, чтобы злиться. Да и просто решил не злиться: это его убивало. Гарриет всегда знала, что он думает, а он часто отвечал вслух на ее мысли.

Они и теперь иногда любили друг друга, но Гарриет казалось — и Дэвиду тоже, она знала это, — что теперь сплетаются и целуются лишь призраки молодого Дэвида и молодой Гарриет.

Как будто постоянный стресс ее жизни ободрал с нее слой плоти — не настоящей плоти, а какого-то метафизического вещества, невидимого, о котором, покуда оно не пропало, и не подозревали. И Дэвид, с его работой, потерял то свое «я» семейного человека. Его старания принесли ему успех в фирме, потом обеспечили гораздо лучшее место в другой. Но теперь в этом и была его суть: события диктуют свою логику. Теперь он стал таким, каким зарекался быть. Джеймс больше не поддерживал их семью, только платил за Люка. Прямота и открытость, которые шли от упрямой веры Дэвида в себя, покрылись слоем его новой самоуверенности. Гарриет понимала, что, если бы ей довелось встретиться с Дэвидом сейчас, он показался бы ей жестким. Но жестким он не был. Твердость, которую Гарриет в нем чувствовала, была не чем иным, как стойкостью. Он умел добиваться и терпеть. И они по-прежнему были похожи.

Завтра, а это будет суббота, Дэвид собрался к Люку в школу на крикет. Гарриет поедет в школу к Хелен: Хелен играет в пьесе. Дороти приедет утром, чтобы они оба могли сбежать на выходные. Джейн будет не с нею, а на празднике у школьного друга, который ей никак не хочется пропустить.

Пол поедет с отцом навестить брата.

Бен останется наедине с Дороти, которая не видела его уже год.

Гарриет удивилась, когда Дэвид спросил:

— Думаешь, Дороти понимает, насколько Бен старше, чем выглядит?

— Может, ее предупредить?

— Да она все поймет за пять минут.

Молчание. Гарриет знала, что Дэвид почти заснул. Он приподнялся, чтобы сказать:

— Гарриет, тебе приходило в голову, что через год-другой Бен станет подростком? Будет половозрелым существом?

— Приходило. Он живет не по нашим часам.

— Наверное, и у его народа бывает что-то вроде взросления?

— Как знать? Может, они были не так сексуальны, как мы. Кто-то сказал, что мы слишком сладострастны, — кто? Точно, Бернارد Шоу.

— Все равно, меня пугают мысли о половозрелом Бене.

— Он уже давно никого не обижает.

После того уик-энда Дороти сказала Гарриет:

— Вот интересно, Бен задается вопросом, почему он так отличается от нас?

— Кто знает? Я никогда не понимала, о чем он думает.

— Может, он думает, что где-то есть другие, похожие на него.

— Может, и думает.

— Лишь бы они не были самками!

— Бен заставляет думать — как и все эти другие люди, которые когда-то жили на Земле, — что они должны быть где-то среди нас.

— В полной готовности объявиться! Но, может, мы просто не замечаем их, когда они появляются, — сказала Дороти.

— Потому что не хотим, — сказала Гарриет.

— Я уж точно не хочу, — сказала Дороти. — Повидав Бена... Гарриет, понимаете ли вы с Дэвидом, что Бен уже не ребенок? Мы относимся к нему как к ребенку, но...

Первые два года у Бена были плохими, но вот наконец он пошел в среднюю школу. Одиноким, но понимал ли он, что одинок? Гарриет была очень одинока и понимала это...

Как и Пол, когда он бывал дома, Бен теперь, придя из школы, сразу садился к телевизору. Бывало, он смотрел его с четырех дня до девяти-десяти вечера. Было не похоже, чтобы какие-то передачи нравились ему больше других. Он не понимал, что есть передачи для детей и для взрослых.

— Какой сюжет у этого фильма, Бен?

— Сюжет.

Бен пробовал слово, низкий грубый голос нерешителен. А смотрел на лицо Гарриет, пытаясь понять, чего она хочет.

— Что происходило в том фильме, который ты только что смотрел?

— Большие машины, — отвечал он. — Мотоцикл. Та девушка плакала. Машина гналась за человеком.

Как-то раз, чтобы выяснить, сможет ли Бен научиться у Пола, она спросила Пола:

— Какой сюжет у этого фильма?

— Он про грабителей банков, так? — ответил тот, исполненный презрения к глупому Бену, который слушал, переводя взгляд с лица матери на лицо брата. — Они собирались ограбить банк через подкоп. Они почти докопали до подвала, но полиция их подкараулила. Они попали в тюрьму, но большинство убежало. Двоих полиция застрелила.

Бен внимательно слушал.

— Расскажи мне сюжет фильма, Бен!

— Грабители банков, — сказал Бен. И повторил, что рассказал Пол, запинаясь, стараясь вспомнить точно те же слова.

— Но это только потому, что я ему рассказал, — заявил Пол.

Глаза Бена вспыхнули, но погасли, едва он напомнил себе — как предполагала Гарриет, — что «я никого не должен обижать. Если обижу, меня увезут в то место». Гарриет знала все, что думал и чувствовал Пол. Но Бен — оставалось только гадать.

Мог ли Пол научить Бена, но так, чтобы они оба этого не поняли?

Гарриет читала рассказ для них двоих и просила Пола пересказывать сюжет. Потом Бен копировал Пола. Но через несколько минут все забывал.

Она играла с Полом в игры вроде «змейки-лестенки» или «лудо», а Бен смотрел; потом, когда Пол уходил, предлагала Бену попробовать. Но он не мог освоить этих игр.

Все же какие-то фильмы он мог смотреть снова и снова и никогда не уставал от них. Ловатты взяли напрокат видео.

Он любил мюзиклы: «Звуки музыки», «Вестсайдская история», «Оклахома!», «Кошки».

— А теперь она будет петь, — говорил Бен, когда Гарриет спрашивала:

— Что тут сейчас происходит, Бен?

Или:

— Они будут тут все танцевать, а потом она будет петь.

Или:

— Они собираются обидеть эту девушку. Девушка убежала. Теперь праздник.

Но пересказать сюжет фильма он не мог.

— Напой мне эту мелодию, Бен. Спой нам с Полом.

Но у него не выходило. Мелодия ему нравилась, но выдать он мог только грубый немзыкальный рев.

Гарриет узнала, что Пол дразнит Бена: просит его напеть мелодию, а потом насмешается над ним. Она увидела, как ярость полыхает в глазах Бена, и велела Полу больше никогда не дразнить его.

— А почему? — закричал Пол. — Почему *нет*? Все время: Бен, Бен, Бен...

Он замахал на Бена руками. Глаза Бена сверкнули. Вот-вот бросится на Пола...

— *Бен*, — остерегла его Гарриет.

Ей казалось, что ее старания очеловечить Бена уводят его в глубь самого себя, где он... он *что?* — вспоминал? — мечтал? — о своем родном племени.

Раз, зная, что он где-то в доме, и нигде не находя его, она шла по комнатам, поднимаясь с этажа на этаж. Второй этаж еще жилой — здесь Дэвид и сама Гарриет, Бен и Пол, хотя три комнаты пустуют, кровати там приготовлены, со свежими подушками и стираными пуховыми одеялами. На третьем этаже пустые чистые комнаты. Четвертый этаж: давно ли детские голоса и смех наполняли его и лились в открытые окна, разносясь над садом? Но Бена не было ни в одной из комнат. Гарриет тихонько поднялась на чердак.

Дверь была открыта. Из высокого слухового окна падал неровный прямоугольник света, и в нем стоял Бен, таращась вверх на тусклый солнечный луч. Гарриет не могла сообразить, чего он хочет, что он

чувствует... Он услышал ее, и тут она увидела Бена, свободного от уз домашней обыденности: одним прыжком он оказался в темноте в углу под кровлей и исчез. Ей был виден только сумрак чердака, казавшегося бесконечным. Не слышно ни звука. Где-то там скорчился Бен и смотрит на нее... Она почувствовала, что волосы на голове зашевелились, ее пробрала дрожь — инстинктивная, ведь умом она не боялась его. Гарриет замерла от страха.

— Бен, — позвала она мягко, хотя голос дрожал, — Бен... — вложив в это слово свою человеческую власть над ним и над этим диким, опасным чердаком, где Бен возвращался в давно минувшее прошлое, которое не знало рода человеческого.

Без ответа. Тишина. Клякса тени на миг затмила жидкий грязный свет под слуховым окном — мелькнула птица, перелетая с дерева на дерево.

Гарриет спустилась и сидела, озябшая и одинокая, на кухне, пила горячий чай.

Перед тем как Бен поступил в местную практическую школу^[3] — разумеется, единственную, куда бы его взяли, — летние каникулы были почти как те, прежние. Люди писали друг другу, созванивались: «Эти бедняжки, давай съездим к ним, хоть на неделю... Бедный Дэвид...» Всегда так, она это знала. Иногда, редко: «Бедная Гарриет...» Чаще — безответственная Гарриет, эгоистичная Гарриет, чокнутая Гарриет...

Гарриет, которая не дала убить Бена, — горячо защищалась она в мыслях, но никогда вслух. Все, что люди — общество, которому она принадлежит, — отстаивают, во что верят, не оставляло для нее иного выхода, кроме как забрать Бена из того места. Но тем, что она забрала его, спасла от убийц, Гарриет разрушила собственную семью. Испортила себе жизнь... И Дэвиду... И Люку, Хелен, Джейн... и Полу. Полу сильнее всех.

В этой колее текли ее мысли.

Дэвид по-прежнему говорил, что ей просто не нужно было ездить туда... Но как она могла не поехать, оставаясь Гарриет? А не поехала бы она, поехал бы Дэвид, это точно.

Козел отпущения. Она стала козлом отпущения — Гарриет, разрушительница их семьи.

Но еще один пласт мыслей или переживаний пролегал глубже. Она сказала Дэвиду:

— Мы наказаны, вот в чем дело.

— За что? — спросил он, заранее насторожившись, потому что в ее голосе звучали ноты, которые он терпеть не мог.

— За самонадеянность. За то, что думали, что сможем быть счастливыми. Счастливыми только потому, что мы так решили *сами*.

— Чушь, — сказал он.

Сердитый: такая Гарриет злила его.

— Это случай. Бен мог родиться у кого угодно. Это был шальной ген, вот и все.

— Не думаю. — Гарриет упрямо гнула свое. — Мы собирались быть счастливыми! Никто никогда не был, или я таких не видела, а мы собирались. Ну вот и грянула гроза.

— Прекрати, Гарриет! Будто ты не знаешь, куда заводят такие мысли? *Погромы* и казни, охота на ведьм и гнев богов!..

Дэвид орал на нее.

— И козлов отпущения, — сказала Гарриет. — Ты забыл козлов отпущения.

— Мстительные боги из тысячелетнего прошлого, — горячо спорил он, возмущенный до глубины души — она это видела. — Карающие боги, раздающие наказания за непослушание...

— Но кто мы, чтобы решать, что будем такими или другими?

— Кто? *Мы* решили. Гарриет и Дэвид. Мы взяли на себя заботу о том, во что верили, и воплощали нашу веру. И вот — не повезло. Вот и все.

У нас вполне могло получиться. Восемь детей в этом доме, и все счастливы... Ну, насколько возможно.

— А кто платил за это? Джеймс. И Дороти — по-своему... Нет, Дэвид, я просто объявляю факты, не упрекаю *тебя*.

Но это давно уже не было для Дэвида больным местом. Он сказал:

— У Джеймса и Джессики столько денег, что они и в три раза больше отдадут, не поморщившись. В любом случае они это делали с удовольствием. А Дороти — она плакалась, что мы ею пользуемся, но, когда ей надоело жить у нас, она стала нянькой Эми.

— Ведь мы хотели быть лучше всех, вот и все. Нам казалось, что так и есть.

— Нет, ты теперь все выворачиваешь наизнанку. Мы хотели одного — быть собой.

— О, всего-то, — сказала Гарриет беззаботно, язвительно, — всего-то.

— Да. Не надо, Гарриет, перестань... Или, если не можешь, если тебе так нужно, избавь от этого меня. Я не хочу, чтобы меня тащили обратно в Средневековье.

— Да кто тебя тащит?

Приехали Молли и Фредерик, привезли Хелен. Они не простили Гарриет и не простили бы ее никогда, но нужно было считаться с Хелен. У нее хорошо шли дела в школе, к шестнадцати она стала привлекательной самостоятельной девушкой. Но отстраненной, чужой.

С Джеймсом приехал восемнадцатилетний Люк, красивый парень, спокойный, уравновешенный и надежный. Люк собирался, как дед, строить корабли. Как отец, он был наблюдателен и проницателен.

Дороти привезла четырнадцатилетнюю Джейн. Она не отличница, но «и ничего тут плохого», настаивала Дороти. «Я не могла сдать ни одного экзамена». «И что с того?» — оставалось невысказанным; но Дороти бросала им всем вызов одним своим присутствием. Которое было уже не таким значительным, как прежде. Дороти заметно

похудела и часто сидела сложа руки. Одиннадцатилетний Пол, истеричный и жеманный, постоянно требовал внимания. Он много рассказывал о своей новой школе, дневной, что ему ужасно не нравилось. Он спрашивал, почему ему нельзя, как всем остальным, в школу-пансион. Дэвид сказал, упреждая Джеймса гордым взглядом, что оплатит пансион.

— Теперь-то вам пора продать этот дом, — сказала Молли, а для ее эгоистичной невестки это было как: «И мой сын перестанет гробить здоровье, работая на тебя, как каторжный».

Дэвид поспешил прийти на помощь жене:

— Я согласен с Гарриет, дом продавать пока не надо.

— Ну а что, по-твоему, тут может поменяться? — холодно спросила Молли. — Уж точно не Бен.

Но, оставшись наедине с женой, Дэвид сказал другое. Он хотел бы продать дом.

— Но поселиться в маленьком домике с Беном, только подумай об этом, — сказала Гарриет.

— Не надо в маленьком. Но и не размером с отель.

Дэвид знал, что хотя это и глупо, но Гарриет все еще не перестала мечтать, что прежняя жизнь вернется.

Потом каникулы закончились. В целом удачно, ведь каждый постарался на совесть. Кроме Молли — так виделось Гарриет. Но для обоих родителей это были грустные каникулы. Им пришлось сидеть и слушать разговоры о людях, которых они никогда не видели и знали только понаслышке. Люк и Хелен ездили в гости к школьным друзьям, чьи семьи никак невозможно было пригласить сюда.

В сентябре Бену исполнилось одиннадцать, он пошел в среднюю школу. Был 1986 год.

Гарриет готовилась к неизбежному телефонному звонку от директора школы. Он позвонит, думала Гарриет, ближе к концу первого

триместра. В новую школу придет характеристика на Бена от директрисы, которая так упорно отказывалась заметить в нем хоть что-то необычное.

— Бен Ловатт не блестящий ученик, но...

— Но что?

— Он очень старается.

Будет ли и теперь так же? Но Бен давно перестал пытаться понять, чему его учат, едва ли смог бы прочесть или написать что-нибудь, кроме своего имени. Он все же старался приспособиться, копировать других.

Не было ни звонка, ни письма. Бен, которого Гарриет осматривала на предмет синяков каждый вечер, когда он приходил домой, казалось, без тревог влился в грубый и порой жестокий мир средней школы.

— Бен, тебе нравится эта школа?

— Да.

— Лучше, чем та?

— Да.

Как всем известно, в таких школах есть прослойка — вроде осадка — необучаемых, невоспитуемых, безнадежных, которые все годы переходят из класса в класс, дожидаясь счастливого мига, когда смогут выйти на волю. И чаще всего они прогульщики, к облегчению учителей. Бен сразу же стал одним из таких.

Через несколько недель после того, как пошел в среднюю школу, Бен привел домой крупного, лохматого, темноволосого юнца, излучающего непринужденное добродушие. «Джон!» — подумала Гарриет. И тут же: «Нет, это, должно быть, его брат». Но нет; ясно, что к этому парню Бена потянули в первую очередь воспоминания о счастливом времени с Джоном. Но этого звали Дерек, и было ему пятнадцать — скоро заканчивать школу. Чего ради он терпел Бена, который на несколько лет младше? Гарриет смотрела, как эти двое достают себе еду из холодильника, наливают чай, сидят перед

телевизором, за разговором почти не глядя на экран. На самом деле Бен казался старше Дерека. Ее они не замечали. Точно как тогда, когда Бен был талисманом и любимцем молодежной шайки, шайки Джона, и, казалось, замечал только Джона, теперь все его внимание шло на Дерека. А скоро — на Билли, на Элвиса и на Вика, которые приходили кучей после школы, сидели тут и кормились из холодильника.

Чем привлекал Бен этих больших мальчишек?

Бывало, Гарриет смотрела на них, например, с лестницы, спускаясь в гостиную, — кучка парней: крупных, или тощих, или пухлых, темных, светлых, рыжих — и среди них Бен, приземистый, мощный, плечистый, с его колючими желтыми волосами, которые растут так странно, с его внимательными недобрыми глазами, — и думала: «На самом деле он не младше их! Он намного ниже, да. Но кажется, он едва ли не командует ими». Когда они сидели вокруг большого семейного стола, ведя свой разговор, громкий, хриплый, насмешливый и язвительный, они все смотрели на Бена. А он-то почти не говорил. Если что-то и скажет, то вряд ли больше, чем «Да» или «Нет», «На!», «Возьми!», «Дай!» — шла ли речь о бутерброде или о бутылке колы. И он все время внимательно смотрел на них. Знали они это или нет, главарем этой шайки был Бен.

Они были горсткой угловатых, прыщеватых, неуверенных подростков, а он был молодой взрослый. В конце концов ей пришлось это понять, хотя поначалу она считала, что этим бедным детям, которые держатся вместе из-за того, что их считают глупыми, трудными и неспособными угнаться за ровесниками, Бен нравится потому, что он еще тупее и заторможеннее, чем они сами. Нет! Гарриет обнаружила, что «банде Бена Ловатта» в школе завидуют, и многие мальчики, и не только прогульщики и изгои, хотели бы в нее вступить.

Гарриет смотрела на последователей Бена и пыталась представить его среди существ его породы, сидящих на корточках у входа в пещеру вокруг режущего пламени. Или возле горстки хижин в чаще леса? Нет, Гарриет точно знала: дом этого народа был глубоко под землей, в черных пещерах, освещенных факелами, — скорее всего, так. Быть может, эти его удивительные глаза приспособлены к совсем другому освещению.

Гарриет часто сидела в одиночестве на кухне, когда шайка Бена за низенькой перегородкой в гостиной смотрела ящик. Они могли валяться там часами, весь день и весь вечер. Заваривали чай, делали набег в холодильник, приносили пироги, чипсы или пиццу. Казалось, им все равно, что смотреть: им нравились послеобеденные мыльные оперы, они не переключали детские программы; но больше всего по душе им был вечерний кровавый пир. Стрельба и убийства, пытки, драки — вот чем они питались. Гарриет наблюдала, как они смотрят — казалось, будто они вправду были частью экранного сюжета. Они бессознательно напрягались и изгибались, скалились, делали торжествующие или жестокие лица; выпускали стоны, вздохи, возбужденные крики: «Так его, давай!», «Вспори его!», «Вали его! Кроши его!» И стоны бурного соучастия, когда пули бьют в тело, когда хлещет кровь, когда визжит истязаемая жертва.

В те дни местные газеты полнились сообщениями о разбоях, грабежах, налетах. Иной раз вся шайка, и Бен в том числе, не появлялась в доме Ловаттов целый день, два дня, три.

— Где ты был, Бен?

Он отвечал безразлично:

— Был с друзьями.

— Да, но где?

— Ну, тут рядом.

В парке, в кафе, в кино, а когда появлялась возможность позаимствовать (или украсть?) мотоциклы — поездка в какой-нибудь городок на море.

Гарриет подумывала позвонить директору школы, но тогда о чем говорить? «Будь я на его месте, я бы только радовалась, что они смываются».

А полиция? Бен в руках полиции?

У этой компании, казалось, всегда было полно денег. Не однажды, не удовлетворившись тем, что нашли в холодильнике, они приносили

кучу еды и весь вечер ее ели. Дерек (но только не Бен!) иногда предлагал ей:

— Хотите кусочек пиццы, уважаемая?

И она принимала, но сидела в стороне, потому что знала: они не хотели ее рядом с собой...

А еще там были изнасилования, в тех новостях.

Она изучала их лица, пытаясь соотнести с тем, что читала в газетах. Лица обычных парней; все они казались старше пятнадцати-шестнадцати. У Дерек был глуповатый вид: в жуткие моменты на экране он заливался нервным злобным смехом. Элвис был худой проворный блондин, очень вежливый, но, как она думала, скверный тип, с такими же холодными, как у Бена, глазами. Билли — неповоротливый, тупой, агрессия в каждом движении. Он настолько погружался в экранное насилие, что даже вскакивал на ноги и, казалось, исчезал в телевизоре — тогда остальные язвили над ним, он приходил в себя и усаживался снова. Гарриет побаивалась его. Да и всех их. Но, думала она, они все не слишком умны. Разве что Элвис... Если они крали (или хуже того), тогда кто все планировал, кто командовал ими?

Бен? «Он не знает собственной силы». Эта формула прошла с ним через начальную школу. Как он справлялся с приступами ярости, которая могла полностью захватить его? Гарриет постоянно тайком выискивала порезы, синяки и раны. У всех они бывали, но не особенно страшные.

Как-то утром, спустившись, Гарриет застала Дерек с Беном за завтраком. В тот раз она ничего не сказала, но поняла, что этим не ограничится. Скоро она увидела за завтраком всех шестерых: поздно вечером Гарриет слышала, как они крались наверх и искали себе постели.

Гарриет подошла к столу, храбро посмотрела на них, готовая выдержать их взгляды, и сказала:

— Не рассчитывайте спать здесь всякий раз, когда вам заблагорассудится.

Никто не поднял головы, все продолжали есть.

— Я вам говорю, — наредила Гарриет.

Дерек, стараясь говорить понаглее, со смехом ответил ей:

— О, простите, простите, конечно, *конечно*. Просто мы думали, что вы не будете против.

— Я против, — сказала Гарриет.

— Тут большой дом, — сказал увалень Билли, тот, кого она боялась больше всех.

На нее он не смотрел, набивал рот едой, шумно жевал.

— Это не твой дом, — сказала Гарриет.

— Когда-нибудь мы у вас его отберем, — сказал, громко смеясь, Элвис.

— Да, наверное.

Вспоминая тот случай, они все отпускали «революционные» замечания в таком же духе.

«Когда начнется революция, мы... Всех богатых засранцев поубиваем, и тогда... Сейчас закон один для богатых и другой для бедных, все об этом знают». Они говорили добродушно, с напускной убежденностью, к которой люди прибегают, когда копируют поступки других, когда становятся частью популярного настроения или движения.

В те дни Дэвид поздно возвращался с работы, иногда и вовсе не приходил. Оставался у кого-нибудь из тех, с кем работал. Так случилось, что в один вечер он вернулся рано и застал всю шайку, девять или десять человек, у телевизора, с пивными банками, коробками с развозной китайской едой, бумажками с рыбой и чипсами, разбросанными по всему полу.

— Уберите этот бардак, — сказал он.

Те медленно поднялись на ноги и собрали объедки. Дэвид был мужчина, хозяин дома. Бен прибирался вместе со всеми.

— Хватит, — сказал Дэвид. — Теперь марш по домам, все.

Они поплелись прочь, и Бен с ними. Ни Дэвид, ни Гарриет не пытались его удержать.

Давно они не были одни. Недели, казалось Гарриет. Дэвид хотел что-то сказать, но боялся — боялся разбудить свой упрямый гнев?

— Ты не понимаешь, к чему идет дело? — спросил он наконец, садясь с тарелкой того, что нашлось в холодильнике.

— Ты к тому, что они начнут бывать здесь чаще?

— Да, именно к тому. Ты понимаешь, что нам надо продать этот дом?

— Да, знаю, что надо, — ответила она тихо, но Дэвид не понял ее тона.

— Ради бога, Гарриет, чего ты еще ждешь? Дичь какая-то.

— Единственное, о чем я сейчас могу подумать, — детям было бы приятно, если бы мы сохранили этот дом.

— У нас нет детей, Гарриет. Или, вернее, у меня нет. У тебя один есть.

Она понимала, что Дэвид не говорил бы так, если бы дома бывал больше. Она сказала:

— Ты кое-чего не понимаешь, Дэвид.

— Чего я не понимаю?

— Бен уйдет. Они все уедут, и Бен поедет с ними.

Дэвид задумался; ел, медленно двигая челюстями, и смотрел на Гарриет. Он выглядел сильно уставшим. А еще он выглядел много старше своих лет — ему легко можно было дать не пятьдесят, а шестьдесят. Седой, заметно сутулый мрачный человек с напряженным лицом и с ожиданием беды в настороженном взгляде. Таким взглядом он сейчас смотрел на Гарриет.

— Зачем? Они могут приходить сюда, когда только захотят, делать здесь, что захотят, брать еду.

— Это не особо их увлекает, вот зачем. Мне кажется, однажды они просто перекочат в Лондон или еще в какой-нибудь большой город. На прошлой неделе они пропали на пять дней.

— И Бен уедет с ними?

— И Бен уедет с ними.

— И ты не поедешь за ним и не привезешь обратно?

Гарриет не ответила. Так нечестно, и он должен это понимать. Через секунду-другую он сказал:

— Прости. Я так устал, что не понимаю, пришел я или ухожу.

— Когда он уедет, может, нам удастся вместе поехать куда-нибудь в отпуск.

— Ну да, может, и удастся.

Слова прозвучали так, будто Дэвид хотел в них верить, надеялся.

Потом они лежали рядом, не касаясь друг друга, и говорили о делах, обсуждая поездку в школу к Джейн. А еще был Пол, в его школе тоже родительский день.

Они лежали одни в большой комнате, где родились все их дети, кроме Бена. Над ними — пустота верхних этажей и чердака. Внизу пустая гостиная и кухня. Они заперли дверь. Если Бен решит сегодня ночевать дома, ему придется позвонить.

Она сказала:

— Когда Бен уйдет, мы сможем продать дом и купить что-нибудь попроще. Может, дети полюбят приезжать к нам, если Бена там не будет.

Ответа не было: Дэвид заснул.

Вскоре после этого Бен с остальными опять исчез на несколько дней. Гарриет увидела их по телевизору. В северном Лондоне были беспорядки. Возмущение давно предсказывали. Парни были не среди

тех, кто швырял кирпичи, куски железа и камни, они стояли кучкой в стороне, плясь, насмехаясь, подзадоривая других криками.

На другой день они вернулись, но не уселись смотреть телевизор. Они не могли успокоиться и уехали снова. Наутро в новостях сообщили об ограблении маленького магазина, в котором было почтовое отделение. Унесли около четырехсот фунтов. Хозяина связали, заткнули рот кляпом. Почтовую кассиршу избили и бросили без сознания.

Они появились в тот же день около семи. Все, кроме Бена, возбужденные и довольные собой. Увидев ее, переглядывались, наслаждаясь секретом, неизвестным ей. Гарриет видела, как они вытаскивают пачки денег, перебирают банкноты, суют обратно в карманы. Будь Гарриет полицейским, ее насторожила бы сила их эйфории, их возбужденные лица.

Бена не лихорадило, как остальных. Он был такой, как всегда. Что бы они ни натворили, можно было подумать, что он не имел к этому отношения. Но он был в том мятеже, Гарриет видела его.

— Я видела вашу компанию по телевизору, вы были в Уайтстоун-Эстейтс, — начала было она.

— Точно, мы были там, — вылез Билли.

— Это были мы, — сказал Дерек, выставив большой палец в одобрение самому себе, а Элвис глянул остро и понимающе. Те, что приходили иногда, не постоянные, выглядели довольными.

Через несколько дней Гарриет обронила:

— Думаю, вам следует знать, что этот дом пойдет на продажу — не прямо сейчас, но скоро.

Она следила в особенности за Беном, он поднял на нее глаза, осмыслил — как ей казалось — ее слова и не сказал ничего.

— Так, значит, собрались продавать? — сказал Дерек, как она видела, скорее из вежливости, чем с какой-либо целью.

Она ждала, что Бен что-нибудь скажет, но тот промолчал.

Неужели он настолько прочно связывал себя с этой шайкой, что не воспринимал этот дом как свой?

Она обратилась к нему, когда остальные были далеко и не могли услышать:

— Бен, на тот случай, если ты когда-нибудь вдруг не найдешь меня здесь, я даю тебе адрес, где ты всегда меня найдешь.

В то время как она это говорила, ей казалось, будто на нее неодобрительно и насмешливо смотрит Дэвид.

«Ладно, — отвечала она про себя невидимому Дэвиду, — но я-то знаю, что, если бы не я, ты сам бы это сделал... Такие уж мы люди, и хорошо это или плохо — с этим ничего не поделаешь».

Бен взял листок, на котором она написала свое имя — «Гарриет Ловатт, в доме у Молли и Фредерика Бёрка» и их оксфордский адрес, что доставило ей определенное злорадное удовольствие. Но этот листок она нашла забытым или брошенным на полу в его комнате и больше не пробовала его давать.

Наступила весна, потом лето, они приходили не так часто, как прежде, иногда не показывались по несколько дней кряду. Дерек обзавелся мотоциклом.

Теперь, когда бы она ни слышала о разбое, налете или изнасиловании и где бы это ни случилось, она думала на них; но понимала, что несправедлива. Они не могли быть виноваты во всем! Тем временем ей не терпелось, чтобы они скорее уехали. Гарриет превратилась в закваску необходимых в жизни семьи перемен. Ей хотелось покончить с этим домом и с мыслями, которые рождались и жили в нем.

Но те иногда приходили. И так, будто и не пропадали так долго, ничего не рассказывали о том, где были, тащились в гостиную, садились у телевизора — четверо или пятеро, а иногда и все десять-одиннадцать. Они больше не грабили холодильник: теперь там мало что было. Они приносили огромные количества разнообразных продуктов происхождением из дюжины стран мира. Пиццу и киши; китайскую и индийскую еду; питу с салатом внутри; такое, тортильи, самосас, мексиканскую фасоль; пирожки, пироги, бутерброды. А ведь они были

обычные ограниченные англичане, разве нет? Не готовые есть то, чего не знали их родители! Но этим, казалось, было все равно, что они едят, лишь бы еды было много, можно было разбрасывать крошки, корки и обертки и не убирать за собой.

Она прибирала после них и думала: уже недолго.

Она сидела в одиночестве за большим столом, пока те валялись по другую сторону низкой перегородки, и звуки телевизора лились противотоком их громким, резким, злобным голосам — голосам чужого, неразумного, враждебного племени.

Ширина этого стола успокаивала Гарриет. Когда его только купили — выброшенный стол мясника, — у него была шершавая, сплошь изрезанная поверхность, но его построгали, и на новом этапе своей жизни стол показал чистый кремово-белый слой дерева. Гарриет с Дэвидом навоощили его. С тех пор тысячи ладоней, пальцев, рукавов, по-летнему голых рук, щеки детей, заснувших на коленях у взрослых и подавшихся вперед, пухлые ножки младенцев, которых ставили походить по столу под общие рукоплескания, двадцать лет поглаживаний и ласк придали широкой доске — это была одна цельная доска, давным-давно выпиленная из какого-то гигантского дуба, — матовую бархатистую поверхность, такую гладкую, что пальцы скользили по ней. Под этой кожей таились в глубине узлы и завитки, знакомый и родной рисунок. На коже, впрочем, есть и шрамы. Вот бурый полукруг — Дороти поставила горячую кастрюлю и, рассердившись на себя, тут же подхватила. Вон изогнутый черный рубец — только Гарриет не помнит, откуда он взялся. Если смотреть на стол под определенным углом, видны мелкие ямочки и выбоины, где опускали подставки, защищающие драгоценную поверхность от жара блюд.

Склонившись вперед, Гарриет увидела свое отражение — тусклое, но и этого было достаточно, чтобы она отпрянула назад, не желая его видеть. Она выглядела, как и Дэвид, — старой. Никто не скажет, что ей всего сорок пять. И это не было обычное старение с сединой и увяданием кожи; из нее вымывалось какое-то невидимое вещество, иссякала какая-то составляющая, которая у всех существует сама собой — вроде жирового слоя, только нематериальная.

Откинувшись, чтобы не видеть своего размытого отражения, Гарриет представляла, как во время оно стол накрывали для праздников и удовольствий — для семейной жизни. Гарриет воскрешала сцены двадцати-, пятнадцати-, двенадцати-, десятилетней давности, хронику обедов Ловаттов: сначала они с Дэвидом, смелые и невинные, с ними его родители, Дороти, сестры... Вот появляются малыши, подрастают... Новые малыши... Двадцать, тридцать человек собиралось вокруг этой блестящей поверхности, отражаясь в ней, на концах подставляли другие столы, расширяли стол досками, установленными на козлах... Она видит расширенный и удлиненный стол и лица, стеснившиеся вокруг, только улыбающиеся лица, ведь в их мечте не было места раздорам и укорам. И малыши... дети... Гарриет слышит смех маленьких, их голоса; и тут светлая гладь стола как будто темнеет, и появляется Бен — чужак, разрушитель. Гарриет осторожно, боясь разбудить в нем чувства, которые точно за ним знала, повернула голову и увидела его там, на стуле. Он сидел в стороне от остальных, всегда в стороне, и, как обычно, его глаза бродили по лицам других, наблюдая. Холодные глаза? Они всегда казались такими Гарриет; но что они видели? Внимательные? Можно поверить, что он размышляет, извлекает сведения из того, что видит, сортирует их — но по каким внутренним схемам, ни Гарриет, ни кто-либо другой никогда не могли бы догадаться. Рядом с зелеными, неоформленными юнцами он был зрелым существом. Сформировавшимся. Завершенным. Гарриет казалось, что сквозь Бена она смотрит на расу, которая достигла своего расцвета за тысячи и тысячи лет до того, как его достигло человечество, что бы ни значило это слово. Может, народ Бена жил в подземных пещерах, когда на Земле воцарился ледниковый период, ловил рыбу в темных пещерных реках, или они выбирались на колючий снег поставить ловушку на медведя или на птицу — или даже на человека, ее (ее, Гарриет) предка? Может, те люди насиловали прачеловеческих женщин? Так получались новые расы, которые процветали и исчезали, но, возможно, оставляли свои семена тут и там в человеческой матрице, чтобы явиться снова, как явился Бен? (И как знать, не сидят ли уже гены Бена в каком-нибудь эмбрионе, упорно стремящемся родиться?)

Чувствовал ли Бен на себе ее взгляд, как его чувствовал бы человек? Иногда он оборачивался на нее, когда она смотрела, — не часто, но такое случалось, их глаза встречались. В свой взгляд Гарриет

вкладывала догадки и вопросы, собственную нужду и *страсть* знать о нем больше — в конце концов, она дала ему жизнь, носила его восемь месяцев, пусть чуть не умерла от этого; но Бен не улавливал вопросов, которые она задавала. Безразлично, небрежно, он снова отводил взгляд, переводил глаза на лица своих приятелей, своих последователей.

И видел — что?

Вспоминал ли он когда-нибудь, что она — его мать, хотя что это значило для него? — нашла его в том месте и забрала домой? Увидела его жалким полумертвым птенцом в смиренной рубашке? Знал ли он, что из-за того, что она вернула его сюда, дом опустел и все разбежались, оставив ее одну?

Снова, и снова, и снова: «Если бы я оставила его умирать, то все мы, так много людей, были бы счастливы, но я не смогла этого сделать, и потому...»

А что будет с Беном теперь? Он уже знает о полузаброшенных зданиях, пещерах, гротах и логовах большого города, где живут люди, которым не нашлось места в обычных домах и жилищах: должен знать, ведь где еще он обретался те дни и недели, когда уезжал из дома? Если они и дальше будут мешаться с большими толпами, вливаться в стихию, которая ищет острых ощущений в бунтах и уличных боях, Бен и его друзья скоро станут известны полиции. Такого, как он, трудно не заметить... Хотя есть ли причина так говорить? Никто из представителей государства *ни разу* не разглядел Бена, с самого дня его рождения... Когда Гарриет увидела его по телевизору в той толпе, на нем была куртка с поднятым воротом и шарф, он выглядел как младший брат, например, Дерека. Его приняли бы за плотного школьника. Надел ли он эту одежду для маскировки? Означало ли это, что он понимает, как выглядит? Каким он себя видит?

Захотят ли люди разглядеть его, понять, кто он такой?

Никакие власти точно не станут, не захотят — иначе им придется брать на себя ответственность. Ни учитель, ни врач, ни психиатр не смогли сказать: «Вот что он такое», — и так же не смог бы ни один полицейский, судебный эксперт или социальный работник. Но если

представить, что однажды кто-то, увлеченный изучением человеческой породы, скажем, антрополог нетрадиционного толка, увидит Бена, например, стоящим на тротуаре или в суде и объявит правду, признает странность Бена... Что тогда? Не грозит ли Бену даже тогда, что его принесут в жертву науке? Что с ним будут делать? Вспорют его? Препарируют эти его подобные палкам кости, эти глаза и выяснят, почему его речь так груба и неуклюжа?

Если этого не будет — а весь опыт общения с Беном говорил ей, что такое маловероятно, — тогда будущее Бена, каким она его видела, было еще хуже. Банда и дальше будет жить кражами, и рано или поздно их схватят. И Бена тоже. Оказавшись в руках полиции, он будет драться, реветь, лягаться и мычать, в ярости забыв себя, и они одурманят его, им придется, и в очень недолгом времени он превратится в то, чем был, когда она нашла его умирающим, — гигантскую личинку, бледную и вялую, в полотняном коконе.

Или, может, ему удастся ускользнуть? Хватит ли у него на это ума? Его приятелям, его банде, не хватит точно, они выдадут себя своим возбуждением, своим восторгом.

Гарриет тихо сидела, слушая звуки телевизора и их голоса из соседней комнаты; иногда бросала на Бена быстрый взгляд и тут же отводила глаза; гадала, скоро ли они уйдут, может, сами еще не зная, что не вернутся. Она будет сидеть тут, с краю тихого мягкого отсвета озерца — этого стола, и ждать их домой, но они не вернутся никогда.

Да и зачем им оставаться в этой стране? Им легко сорваться и раствориться в любом из больших городов мира, примкнуть к тамошнему преступному миру, проживаться собственной хитростью. Может, уже скоро, в новом доме, где они будут жить с Дэвидом (одни), она включит телевизор, и там, в новостях из Берлина, Мадрида, Лос-Анджелеса, Буэнос-Айреса, увидит Бена: стоя в стороне от толпы, он будет глядеть прямо в камеру глазами гоблина или рассматривать лица толпы в поисках другого — такого же, как он.